

В СВОДКАХ НЕ СООБЩАЛОСЬ...



СНЕГИРИ НА СНЕГУ

ОЛЕГ ПЕТРОВ

В сводках не сообщалось...

Олег Петров

Снегири на снегу (сборник)

«ВЕЧЕ»

2017

Петров О. Г.

Снегири на снегу (сборник) / О. Г. Петров — «ВЕЧЕ»,
2017 — (В сводках не сообщалось...)

ISBN 978-5-4444-8981-9

В книгу известного дальневосточного писателя и журналиста Олега Георгиевича Петрова вошли две его остросюжетные военно-приключенческие повести, основанные на реальных событиях. Первая – «Снегири на снегу» – рассказывает о некоторых ранее неизвестных широкой читательской аудитории эпизодах работы советской разведки накануне и в годы Великой Отечественной войны в Прибалтике и Белоруссии. Вторая – «Экипаж машины огневой...» – об экипаже уникального огнеметного танка, подразделение которых впервые приняло участие в боевых действиях против японских захватчиков на реке Халхин-Гол летом 1939 года.

ISBN 978-5-4444-8981-9

© Петров О. Г., 2017

© ВЕЧЕ, 2017

Содержание

СНЕГИРИ НА СНЕГУ	6
ГЛАВА 1. МЮНШЕ	6
ГЛАВА 2. ЗАУКЕЛЬ	11
ГЛАВА 3. КЛИМОВ	18
ГЛАВА 4. КРЮКОВ	28
ГЛАВА 5. КРЮКОВ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)	35
ГЛАВА 6. РЕНИКЕ	41
ГЛАВА 7. БАНГЕРСКИС	45
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Олег Петров

Снегири на снегу

© Петров О. Г., 2017

© ООО «Издательство «Вече», 2017

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Сайт издательства www.veche.ru

СНЕГИРИ НА СНЕГУ

ГЛАВА 1. МЮНШЕ

Поле было ослепительно-белым. У кромки леса, словно упершейся в блестящий снежный наст, выбежала вперед развернувшаяся веером ольха. Стайка птиц, весело гомоня среди полуденной тишины, суетливо теребила ольховые шишечки, щедро рассыпанные вокруг дерева на твердом настe.

Розовогрудый снегирь, клюнув несколько раз разлохмаченную шишечку, резко наклонил головку и, блестя выпуклым черным глазом, сделал быстрый, но опасливый шажок к алеющей на снежной корке бусине. Еще шажок, еще, и клюнул было уже, но испуганно отпрянул от алой ягодки, судорожно взмахнул крылышками, рванувшись вверх: приглушенный человеческий стон взметнул снегириную стайку в воздух.

Под ольхой лежал человек, рассыпав вокруг головы те самые, чуть дымящиеся на морозе алые бусины. Стон напугал птиц, и теперь они зорко поглядывали с самых верхних веток ольхи на распластавшуюся внизу черную фигуру.

Человек лежал неподвижно, лицом вниз, неестественно подвернув под себя левую руку. Правая выброшена вперед, сжата в кулак, вокруг которого снежная корка чуть-чуть, едва заметно, подтаяла. Черный ватник без ремня, такие же ватные брюки, заправленные в бурые войлочные бахилы. Шапки не было. Давно не стриженные русые волосы от крови и снега смерзлись комками: рана на затылке кровоточила.

Снегири не видели, когда человек вышел из леса, но глубокая борозда-траншея его следов тянулась от кустов на опушке к ольхе – неровная, как ручей, оббегающий камни.

Человек не вышел к ольхе – подполз, проламывая снежный наст тяжестью тела, глубоко зарываясь в сыпучий поднастовый снег, шуршащий, как пшено, и обдирающий лицо и руки наждаком. У ольхи человек хотел было подняться, но силы изменили ему, оставили окончательно, и он тяжело рухнул в снег, а рана на голове снова закровоточила. Алая струйка нехотя ползла от затылка к левому уху и плотно впитывалась в белый, рафинадно искрящийся на ярком солнце снег.

Человек лежал неподвижно уже около часа. Снегири настороженно сидели на самой верхушке ольхи: редкий, тягучий человеческий стон пугал их, но заманчивая алость ягодок-бусинок на снегу манила.

Упершись буравчиками желтоватых глаз в серый, тщательно вычищенный от снега апель-плац, который ровным прямоугольником отделял бараки от двойного проволочного забора с белыми шишечками изоляторов на столбах, унтерштурмфюрер СС Отто Мюнше в очередной раз проклинал тот день, когда под Смоленском он, кавалер бронзовой медали за боевые успехи во Франции, так безрассудно двинул свою танковую роту на позиции большевиков.

Да, Россия оказалась крепким орешком. Второй веселой французской прогулки не получилось. Даже апрельские сорок первого года операции против югославской армии – невинные перестрелки по сравнению с русской мясорубкой. Под Смоленском эти русские варвары в обмотках, обвешав себя черными бутылками с какой-то адской горючей смесью, бросались под танки, как одержимые.

Фанатики... Мюнше невольно поежился, вспомнив, как лихорадочно рвал затвор, извлекая из пулемета перекосившийся патрон, а на его командирский танк набегал огромный окровавленный человек в белесой гимнастерке. О, майн гот, Мюнше все-таки опередил русского медведя! Как это удалось, Отто не может сообразить до сегодняшнего дня.

Снова заныло под ложечкой от давно поселившегося внутри животного ужаса. Он заставил храброго оберштурмфюрера, командира третьей танковой роты второго танкового полка мотопехотной СС-дивизии «Рейх», бросить оставшиеся экипажи на поле боя и постыдно бежать. Впрочем, далеко тогда убежать не дали.

Пятясь, огрызаясь огнем из пушки, пятнистая коробка, в которой тонко визжал доселе храбрый танкист Отто Мюнше, успела лишь перевалить на обратный склон высоты, как ей преградил дальнейшее бегство тяжелый бронетранспортер начальника штаба полка штурмбаннфюрера Герлиха.

Да... Если бы не Герлих, еще можно было бы, отдышавшись, что-то придумать, тем более что уже четверть часа спустя командир полка штандартенфюрер СС фон Лаубе приказал атаку прекратить, отойти и перегруппироваться. Но тогда виновным в общей неудаче полка объявили его, Мюнше.

Собрав офицеров, фон Лаубе долго вопил, что из-за трусости одного ублюдка атака захлебнулась. Побагровев и брызгая слюной в лицо, рвал пуговицы на кожаном реглане Мюнше, добираясь до той самой бронзовой медали, красовавшейся на полевом кителе оберштурмфюрера... А потом был военно-полевой суд, понижение в звании на ступень и перевод в охранные части. Большая удача для Мюнше! С передовой в тыл! Шкура целая и всегда есть чем поживиться, особенно при сортировке пленных. Часы, обручальные кольца – да мало ли чего... На передовой же, кроме Железного креста, – только деревянный.

Мюнше, конечно бы, переводом в охранные части не отделался: непозволительная роскошь для паникера в условиях военного времени. Но заседанию военно-полевого суда предшествовали медкомиссия и почти двухмесячное пребывание в психушке – отделении для помешанных госпиталя СС. Заключение докторов и спасло Отто жизнь: дескать, произошел в ходе боя у храброго танкиста сильный психический срыв. Хвала небесам, что признали вменяемым! А то вместо военно-полевого суда оказался бы Отто в концлагере для идиотов, среди скопища неполноценных, оскорбляющих своим присутствием на земле новый арийский порядок. Вменяемым признали с трудом. Да и то только потому, что он, Отто Мюнше, в свое время прошел обязательную для эсэсманов антропологическую проверку: стопроцентный рейхдойче! Генофонд арийской нации!

Генофонд... Под минувшее Рождество – Мюнше криво и горько усмехается – его служебная карьера даже пошла вверх: повысили в должности – перевели заместителем коменданта постоянного лагеря сюда, под Остбург.

Отто хмыкает уже вслух. Какая-то тупоголовая скотина из чинуш ВФХА – Главного административно-хозяйственного управления СС – или из умников Имперского министерства восточных оккупированных территорий не нашла лучшего названия для этого невзрачного городишки, носившего при большевиках имя какого-то их бонзы. Хотя... Остбург все-таки проще, чем это большевистское Кал-ин-нин-ск... Язык сломать можно от проклятых красно-еврейских названий. Свинское отродье! Из-за него он, Отто Мюнше, добровольно записавшийся на службу в октябре 1939 года в первую из сформированных дивизий усиления СС, ныне прозябает среди бараков и заборов, обвитых колючей проволокой.

Именно прозябает. Потому как ничем особенным от всего этого вонючего сброда разжиться так пока и не удалось. Полтора десятка скромненьких обручальных колец и дюжина дешевых наручных часов да пара медальонов, из которых Мюнше с омерзением выковыривал клочки волос и фотокарточки со славянскими физиономиями. Хотя... Большинство самок выглядят довольно миловидно. Дикарки-славянки, увы, гораздо смазливее, чем доморощен-

ные медхен и даже хваленые француженки. Это Отто знает точно – повидал. Но – зверьки! Добиться благосклонности невозможно. Только силой. Что за дикая страна?! Дикая и ледяная!

Вторую зиму мерзнет от жгучих славянских морозов Отто. Ему постоянно зябко даже у докрасна натопленного сборного чугунного обогревателя – последнего изобретения тыловых крыс. Впрочем, чего могут изобрести крысы?! Красть и тащить – в этом горазды. Красть и тащить... Вот и печка – Мюнше угрюмо уставился на порыжелые, покрытые окалиной бока обогревателя – русская. Как это?.. «Бур-жуй-ка»! А тыловые крысы выдают ее за чудо немецкой инженерной мысли! Такое же «чудо», как новый, непобедимый танк панцер-ваффен рейха Т-V, сорокапятитонная «Пантера»! Слямзили, умники, с трофейных русских танков и форму корпуса, и компоновку. Новый... Оказывается, у русских еще до Восточной кампании уже был их проклятый Т-34!

Мюнше вспомнил, как под Смоленском, после одного из кошмарных боев, они наконец-то смогли воочию увидеть эту машину. Изуродованную и обгорелую. Но и в таком виде русский танк поражал своей рациональной простотой, скосами брони, что, как правило, при ударе снаряда давало спасительный рикошет. Если не получалось сразу перебить стремительному русскому танку гусеницу или подкараулить его борт, – при этом еще надо было умудриться загнать снаряд меж гусеничными катками, – пиши пропало! Сметет любое противотанковое орудие, а уж если первой ударит русская танковая пушка... Любое хваленое крупновское чудовище – готовый жестяной саркофаг для экипажа, хоть ты там его из самих Нибелунгов комплектуй!.. Мюнше слышал краем уха, что конструкторы фюрера создали новый танк с более мощной броней и орудием увеличенного калибра, которое может поспорить с русской танковой пушкой на большой дистанции... Может быть, и так, только никакая пушка и никакая броня уже никогда не вылечат его, Отто. Теперь он – раб своего ужаса.

Потому часто, очень часто пробирает Отто мелкий, предательский озноб. Поздно ночью, вернувшись в очередной раз с проверки постов и опрокинув несколько пробок-стаканчиков мутного местного шнапсу, зажевывая сивушный дух розовым салом, Отто на мгновение признается самому себе, что не от славянского мороза стучит он зубами, а от страха, не покидающего его с тех самых сентябрьских смоленских деньков сорок первого года.

С этим страхом Мюнше ложится спать, проваливаясь в зыбкое полузабытье. С этим страхом Мюнше встает утром, живет очередной день. Чертов шнапс не помогает выспаться. Но утром Мюнше – другой. С утра и до вечера унтерштурмфюрер мстит большевикам за свой страх. Даже подчиненные боязливо за глаза называют Мюнше «Отто Смерть». Заключенных бывший СС-танкист расстреливает из своего «вальтера» за малейшую провинность. Стреляет экономно: один патрон на недочеловека, но к вечеру нередко пуста и запасная обойма, торчащая из маленького кармашка на кобуре черной эрзац-кожи. Кстати, сверху за это не хвалят: рейху нужны рабочие руки.

Неэкономно поступает унтерштурмфюрер Мюнше. Сначала надо максимально рационально использовать на работах силы заключенного. Доход от переработки трупа зачастую столь ничтожен, что не перекрывает расходы по его утилизации и стоимость использованного боеприпаса. Неэкономно. А рейх сегодня должен быть бережлив особенно: уйму средств поглощает Восточный фронт, велики траты на воздушное и морское противоборство с Англией, постоянные потери от тыловых бандитов и саботажников, особенно на оккупированных территориях... Когда бы Мюнше отстреливал комиссаров и евреев, а то – кого ни попадя. Нередко еще довольно сильные и крупные экземпляры рабочей скотины попадают в число его жертв. Чинуша из инспекции лагерей уже грозил замкоменданта выговором за самоуправство.

Но сегодня с утра Мюнше еще из штаба лагеря не выходил. Уже неделю он исполняет обязанности коменданта: толстяк Цорн валяется в госпитале со своими пропитыми почками и еще черт знает с чем. А сегодня прибывает высокое начальство. Вчера в лагере появился капи-

тан Рексмайер из местного отделения абвера, зловеще известил: среди «гостей» будет представитель главного органа армейской разведки на оккупированных территориях – штаба абвера «Валли» – и самого адмирала Канариса.

Откровенно говоря, в СС недолюбливали этих наглецов-абверовцев, с их аристократическими замашками. Впрочем, недолюбливали – мягко сказано. Любой эсэсман из гестапо, крипо, СД или подразделений «Мертвая голова», охраняющих лагеря, при случае всегда рад подложить народу сухопутного адмирала жирную свинью.

Однако на этот раз думать приходилось не об этом, а о собственной заднице. Чуть больше суток назад, ночью, из лагеря бежали четверо русских.

Капитана Рексмайера Мюнше вчера не напрягал информацией об этом происшествии. Дело обычное, бывало такое и раньше. И заканчивалось для беглецов чаще одинаково: тренированные овчарки поисковой команды рвали в клочья глотки этим ублюдкам. Хотя на этот раз побег в полной степени не пресечен: вчера вечером группа шарфюрера Лемке троицу беглецов схватила неподалеку от развилки шоссе, а вот четвертый – канул бесследно. Снег! Хлопья сыпались с неба в ночь побега, надежно скрывая следы.

В лагерь ребята Лемке приволокли живым только одного из беглецов – остальных с удовольствием пристрелили на месте: хорошего пса, твари, исполосовали самодельным ножом, на поисковиков – фанатики! – пытались наброситься. Ребята прикончили бы и третьего, но у Лемке хватило мозгов и благоразумия приволоочь полуживую скотину в лагерь. Однако эта сволочь, как воды в рот набрала: про четвертого беглеца, канувшего за снежной пеленой, не удалось выбить ни словечка.

Всю ночь Лемке с блокфюрером Зальцем и старшим лагерным капо Лыбенем, тупым увальнем из уголовников, которых освободил из местной тюрьмы занявший Калининск – Остбург батальон вермахта, обрабатывали в помещении лагерного карцера захваченного в лесу уродца. Без толку. Под утро он харкнул Лыбенью в рожу сгустком крови, а вскоре отдал концы. Лемке хлестал капо по морде, орал, что-де он, чистокровный ариец Лемке, почти сутки лазил по сугробам за сбежавшими тварями, не зная отдыха и горячей пищи, а тупой – хрясь, хрясь Лыбенья по роже! – русский медведь своими сапожищами и кулаками испортил все дело! Хрясь!

Лыбень, виновато помаргивал бесцветными редкими ресницами, монотонно бубнил, что, герр шарфюрер сами приказали выбить из беглеца всю «правду-матку».

– Что... матка?.. – Проклятые русские слова далеко не сразу, а то и не всегда доходили до Лемке, что ярило его еще больше. Он перетянул Лыбенья железным прутот, заменявшим стек, вдоль спины, хотел повторить, но тут в боксе появился Мюнше, которому уже доложили о неудачном финале допроса. Унтерштурмфюрер гаркнул на подчиненного и остервенело махнул рукой. Лемке до конца вытолкнул из себя многоэтажное ругательство, зло сплюнул Лыбенью на раздолбанные валенки:

– Пшел вон, свинья!

Капо с облегчением протиснулся в двери.

В наступившей тишине, нарушаемой тяжелым дыханием потного шарфюрера, Мюнше несколько секунд разглядывал тело на земляном полу, потом скользнул взглядом по напряженным физиономиям Лемке и Зальца и, ни слова не говоря, вышел наружу.

Поеживаясь, он вернулся в штабной барак, полез было в правую тумбу стола за бутылкой, но тут же намерение опрокинуть стаканчик шнапсу отставил, закурил и устался в сереющее за окном небо. Так и просидел почти до приезда чертового Рексмайера с его новостями.

С какой-то спокойной злостью – да и не злостью, а привычной уже глухой ненавистью ко всему окружающему, думалось о том, что бесследно пропавший в лесу русский, скорее всего, уже околел под какой-нибудь елкой. Однако чинушам из инспекции лагерей, вонючим пронырам из гестапо и абвера абсолютно наплевать на это. Им – вынь и положь четвертый труп. Впрочем, Мюнше и сам понимал, что труп сдохшего русского поставит точку в истории

с побегом. На то и свиньи за колючей проволокой, чтобы искать и использовать при удобном случае лазейку для бегства.

Формальное расследование обстоятельств побега закрутили сразу же. Виновные из ночного караула уже огребли взыскания. Но четвертого труп нет! И, следовательно, нет оснований считать побег пресеченным.

С другой стороны, зря он, Мюнше, поднимает бурю в стакане. Ответить выговором за побег, вполне возможно, ему, как и.о. коменданта, придется. Но не по такому же пустячному поводу прется в лагерь высокая комиссия с абверовским бонзой. Да и хоть сам Канарис! У Мюнше – свое начальство, а оно под дудку серого адмирала не пляшет, несмотря на все его берлинское могущество. Хотя, дьявол их поймет, господ-командиров!

Конечно, психопат Лемке, если подвернется удобный случай, обязательно донесет приезжающему начальству: во всем виноват он, Мюнше. Лемке давно копает ему яму, мечтая об офицерском чине.

Отто отводит взгляд от плаца за окном, трет виски короткопалыми, заросшими рыжеватыми волосами руками. Развернувшись всем корпусом назад, под жалобный скрежет описавшего полукруг кресла, переводит взгляд на висящий над креслом портрет фюрера, грозно глядящего вдаль с недавно выбеленной стены.

Машинально, в очередной раз прикинув, сколько висит таких портретных репродукций в разных штабах и прочих кабинетах рейха, Отто разглядывает фюрера – самого главного арийца на всем белом свете. И в очередной раз с раздражением закапывает упрямо всплывающую из глубины мозгов подлую мыслишку: гениальнейший вождь имперских народов как-то совсем не соответствует, несмотря на старание безвестного художника, образу пропагандируемой ведомством доктора Геббельса «белокурой бестии».

Хотя и он, Мюнше, внешне от идеала арийца далек. Но и он, Отто, вновь видит себя то на мрачноватой, гранитно-мраморной трибуне нюрнбергского имперского стадиона, над колыхающимися колоннами с упоением марширующих наци, то на обитом натуральной кожей заднем сиденье роскошного «хорьха», с номерными знаками и штандартом рейхсканцелярии на лакированном переднем крыле... А чаще – в шикарно убранной спальне старинного замка, где над пышущим жаром камином тускло блестят скрещенные старинные мечи... И везде Отто представляется себе высоким блондином, а не рыжим коротышкой. Не сыном лавочника из берлинского предместья – лощеным аристократом с баронской приставкой «фон» к фамилии. Только в баронских грезах Отто почему-то не вальяжно цедит из пузатой рюмки драгоценный французский коньяк, а с глыканьем льет его себе в горло, как вот этот мутный местный шнапс, хотя и из большого хрустального фужера, который держит в правой руке, левой лениво лаская... нет, не пышные груди ослепительной вдовы-генералыши, еще не разменявшей полностью третий десяток лет, – покрытые гусиными пупырышками и отвислые, как уши спаниеля, бледные до синюшности, перси костлявой дочки соседского лавочника, вечного папашкиного конкурента Фурмеля...

Мюнше вздыхает, отгоняя наваждение. Сошла бы нынче и Лотта Фурмель. Но пока Отто сидит в злых и холодных русских лесах, Лотта, он уверен в этом, зря времени не теряет. В неимоверно далеком фатерлянде охотников и до костлявой дочки старого Фурмеля полно.

Унтерштурмфюрер вновь, елозя креслом, отворачивается к окну и с ненавистью сверлит глазами серый прямоугольник апель-плаца. Пепел с еле тлеющей сигареты сыплется на китель, но Мюнше не замечает этого. Он ждет высокое начальство.

ГЛАВА 2. ЗАУКЕЛЬ

Медленно вернулось сознание, а с ним и разламывающая до тошноты всю черепную коробку боль. Человек шевельнулся на захрустевшем снегу. Или ему только показалось это? Рот наполнился солоноватой слизью. Человек через силу разжал стиснутые зубы, непослушным языком попытался вытолкнуть кровавые сгустки. Дышать стало легче. Открыть глаза получилось не сразу. В первое мгновение резанула ослепительная вспышка, помутившая и без того сумеречное сознание. Постепенно, через узенькие щелочки меж опухшими веками, в глазах прояснилось, их уже меньше резало от слепяще-яркого солнечного света. Стоял день. Солнечный. Необычный. Пугающе необычный. Тут же навалилась гулкая тревога, от которой заухало в груди. Но потом уханье сердца постепенно стало отступать и исчезло вовсе. Только голову разламывала боль, но вот и она притупилась до привычности. И лишь теперь человек смог осознать причину охватившей его гулкой тревоги. Вокруг стояла тишина. Большая и плотная тишина. В ней не было приближающегося лая широкогрудых стремительных овчарок с темно-коричневыми подпалинами на поджарых боках, в стандартных ошейниках. Овчарок, которые, казалось, уже настигали, и пена летела с черных бахромистых складок над ослепительно-белыми клыками...

Ослепительно-белым было всё окружающее пространство. Где-то очень далеко, у горизонта, его пересекала черная полоска, отделяющая белое от такого же ослепительного, бесконечного океана сини. Человек не сразу понял, что это поле, за которым далекий лес, что бездонная синева – небо. Но почему, вопреки всем земным законам, поле, далекий черный лес, небо расположились необычно – вертикально?

Новый приступ тошноты, наполнивший рот горечью, помог сообразить: непреодолимая, отдающая гулками жаркими толчками боли в голову, сила прижала его тело, впечатала в белоснежную поверхность. Мир, конечно, по-прежнему горизонтален, а это он, беспомощный, неподвижный, – распластан, придавлен стопудовым грузом, вбит чудовищной тяжестью в бескрайний снежный простор. Но ничего страшного в этом нет. В услышанной, заполнившей весь мир тишине царит покой, убаюкивающий, обволакивающий неспешной дремой.

Взгляд с трудом сфокусировался на чем-то выбивающемся из этой общей картины бескрайнего покоя, более ближнем. Теперь пространство сузилось до размытой по краям багровым щели. Человек окончательно понял, что лежит на снежном насте, а на багровой полоске ставшего близким горизонта сидит какая-то пичуга... Снегирь! Блестит выпуклым глазом, яркая грудка еще ярче от ослепительной сахарности снежной поверхности.

Человек снова шевельнулся. И теперь уже окончательно убедился, что его движения происходят только мысленно: снегирь никак не среагировал. Черная гора, взрывшая снег у ольхи, снегирю была неопасна. Птица, конечно, поняла, что эта черная гора – тоже живое существо. Пока еще живое. Но опасности уже не представляющее. Черная гора сама нуждается в защите и помощи.

Снегирь деловито переступил с ноги на ногу и демонстративно клюнул уже порядком разлохмаченную им на снежной корке ольховую шишечку. Черная гора – человек его больше не интересовал.

А человек пытался удержать глаза на птице. Этого не получалось. Сознание куда-то ускользало, совершенно не слушая мысленного приказа не уходить, держаться, не опускаться на зыбкое, черное дно беспамятства. И опять стало непонятно, как это так спокойно яркая пичуга разгуливает по вертикальной поверхности, бодро клюет что-то, а это что-то от ударов клюва не скатывается вниз, туда, куда стремительно, одновременно раскручиваясь, словно на карусели, падает мгновенно ставшее невесомым тело, куда проваливается все, – в черноту...

На пороге, как обычно, без стука вырос Лемке, с порога пролаял «хайль», вскинув руку в традиционном приветствии. Так и замер, сволочь, выжидая.

Мюнше нехотя отвернулся от окна, вылез из нагретого долгим сидением кресла и, потягиваясь, вяло ответил на приветствие, едва согнув правую руку в локте. Лениво, с привычной ненавистью подумал: «Лишнюю строку, рыло косое, в донос добавишь!». Уперся в красные, как у кролика, круглые глазенки шарфюрера. Тот, сразу же переведя взгляд поверх головы начальника на портрет имперского вождя, отчеканил:

– Герр унтерштурмфюрер, дежурному только что прошел звонок из отделения гестапо в Остбурге: к нам выехали гости.

Мюнше зевнул и, отогнув обшлаг кителя, глянул на наручные часы: 9.41. Значит, компания будет через час – час десять на месте. Что ж, время еще есть.

– А не выпить ли нам, дружище, кофе? – Мюнше изобразил на лице подобие улыбки, на которую Лемке откликнулся довольной ухмылкой заклятого приятеля.

– Только что хотел предложить это вам, герр комендант!

– Шутник! – Мюнше, криво усмехаясь, погрозил подчиненному пальцем. «Тварь гестаповская! Ждет не дождется, когда эти чертовы «гости» начнут размазывать меня по стенам цорновского кабинета! Дерьмо! Всё дерьмо!..»

– А что, дружище, об упущенной четвертой русской свинье никаких новых известий?

Осклабившийся было шарфюрер – как подавился. Круглая физиономия побагровела, от чего кроличьи красные глазки совершенно на ней потерялись. «А что, неплохо! – подумалось Мюнше. – За побег ответит командир роты охраны, а за некачественные поиски в лесу – вот этот вонючий лис!» Унтерштурмфюреру стало смешно, он еле удержал лицо от соответствующей гримасы – чего эту тварину еще больше злить...

– Никак нет, герр унтер...

– Ладно, ладно, дружище. Будем готовиться к приему начальственных пинков и подзатыльников, – с покровительственной бодростью произнес Мюнше. – А пока выпьем кофе... Как обычно, в канцелярии?

– Так точно! Фройляйн Анна...

«Фройляйн!.. Аристократ лагерный! Сейчас будет хлебать из кружки эрзац-бурду и раздевать глазами эту самую «фройляйн» Анну – вульгарную, вечно размалеванную без всякой меры девицу, невесть какими ветрами занесенную в лагерную администрацию... Впрочем, ветра известные – подарочек гауптштурмфюрера Ренике, шефа местного гестапо. Откопала же, гнида гестаповская, для себя фольксдойче в Остбурге! Фольксдойче... Унтерменше! А как надоела подстилка – сбегрил сюда, в лагерь. Стучат с Лемке наперегонки, твари!»

Мюнше снова стало смешно от своего «праведного» гнева. Когда эта самая Анна появилась, потупив взор, в его кабинете, с направлением из бургомистра и рекомендациями местного отделения гестапо, а проверочные материалы на нее из инспекции лагерей и от уполномоченного службы безопасности – СД, пришли еще раньше, – Отто и сам, без больших усилий, вскоре затащил ее в постель. Новая работница канцелярии оказалась весьма покладистой и безотказной. Ее любвеобильности хватало и Мюнше, и Лемке, а вот комендант, толстячок Цорн, как-то ее игнорировал. «Странно, – вдруг подумалось, Отто, – а почему действительно наш толстячок самоустранился?..»

Наморщив лоб, Мюнше бросил взгляд в спину исчезающему за дверями Лемке, снова потянулся и двинул затекшее тело к громоздкому шкафу, набитому до отказа кипами бумажных папок с тряпичными тесемками. Выудил из-под лежащей сверху на шкафу каски платяную щетку, несколько раз пошоркал ею по обсыпанному пеплом черному мундиру.

...Кофе конечно же оказался набившей оскомину бурдой, крепко отдающей желудями. Отто с тоской вспомнил ароматный довоенный напиток, иногда появлявшийся в отцовской лавчонке. Хо, как это было давно! Потом застучали барабаны, потом фюрер бросил устами своего колченогого министра пропаганды клич-лозунг: «Пушки вместо масла!», а с маслом пропали и кофе, и многие другие вкусные вещички. Последний раз любимым душистым напитком Отто по-настоящему наслаждался в Париже... С тоской вспомнился настоящий бразильский «мокко», которого в поверженной столице у чернявых галльских обезьян оказалось столько, словно на Елисейских полях и в подстриженном с чисто французской легкомысленностью Булонском лесу шелестели листвой не каштаны и раскидистые платаны, а кофейные деревья. Париж... В какой жизни это было? И было ли вообще? На остбургской толкучке Мюнше месяца полтора назад реквизировал пакет с кофейными зернами у перепуганной старушенции, но от сокровища ощутимо наносило прелью...

За окном канцелярии серел тот же самый плац, отделенный широкой нейтральной полосой и высоким проволочным забором с фаянсовыми шишечками электроизоляторов. А вот тарахтение дизель-генератора, обеспечивающего освещение и высокое напряжение в проволочном заборе, здесь слышалось куда более отчетливо. Жрет, прорва железная, дефицитное дизтопливо! И ведь, по сути, напрасно. Стоило на четверть часа генератору задохнуться... Как же об этом пронюхали доходяги в бараке? Спросить не у кого. Пришлось в заключении проведенного расследования свести все к досадному совпадению. Дебильно и неуклюже, но иначе вывод напрашивается крайне неутешительный, если не сказать более определенно. Благо всех прежде причастных к обслуживанию дизель-генератора русских свиней уже жрут черви! Хотя... Никто их не жрет! Валяются заледенелыми колодами в траншее за хоздвором лагеря... Вот, кстати! Вернется из госпиталя Цорн, надо срочно решать вопрос с оборудованием реторты крематория. Чтобы с наступлением тепла не расползалась зараза. Тепло... А оно, черт побери, будет в этой дикой, варварской стране? Наступит ли когда...

Мюнше снова пробрало ознобом, который отступил было после чашки эрзац-кофе. Унтерштурмфюрер вновь с тоской глянул за окно. Дьявол бы побрал эти русские морозы, эти почерневшие от долгих осенних дождей приземистые, словно ежедневно погружающиеся в земную твердь щелястые бараки, эти раскоряченно упершиеся в периметр лагеря караульные вышки из соснового теса, нависшие над рядами местами уже прихваченной ржавчиной колючей проволоки! Но главное – эта страшная, серая, безликая, колыхающаяся жуткими волнами свинцовой ненависти масса недочеловеков, славянского сброда. Жуткая, пугающая его, Мюнше, масса. Его, сильного, здорового, вооруженного, никогда не выходящего в зону без сопровождения полувзвода охранников, готовых в любой момент пустить в дело безотказные автоматы и беспощадных стремительных овчарок. И ничего не может Отто Мюнше поделать с этим страхом. Ни днем ни ночью. Ни под парами шнапса, ни в объятиях податливой «фройляйн» Анны.

И сейчас, стоя на невысоком крыльце штаба, под защитой четырех тупорылых МГ, торчащих с близлежащих вышек в сторону зловещих бараков, унтерштурмфюрер Отто Мюнше не чувствовал себя в безопасности. Он непроизвольно то и дело напрягал живот, ощущая приятную тяжесть висящей на ремне черной кобуры. Но нет, ни шнапс, ни удовлетворение похоти с ненасытной фольксдойче Анной, ни эта приятная тяжесть слева на животе – всё это не то... Настоящее наслаждение Отто получал лишь тогда, когда нажимал на спусковой крючок, стараясь попасть жертве в лицо, в раскрытый рот. Как тогда, под Смоленском. Когда ему удалось опередить страшного русского, набегающего на его танк с жутким «коктейлем Молотова» в стеклянной бутылке...

Яркое солнце делало еще более ослепительным снежный покров. Две волны высоких, девственно-белых сугробов ограждали кюветы по обеим обочинам дороги, которая упиралась в ворота, крепко собранные из железнодорожных шпал толстыми коваными скобами.

Вдалеке, за черным ельником, слышались ровное гудение автомобильного мотора и треск мотоциклетных. Через пару минут из-за хвойной молодки вынырнул мотоцикл с нахвалившимися от мороза солдатами, потом показался широкий, закамуфлированный грязно-белыми разводами «майбах», за которым катил еще один мотоцикл сопровождения с тремя фигурами в куржаке.

Охрана у ворот подтянулась. Мюнше чуть сдвинул кобуру влево и, тяжело вздохнув, шагнул с крыльца навстречу распахивающимся воротам. Злобно за спиной залаяла собака, ей откликнулась другая, на них зацывали вожатые. Мощный, тяжелый «майбах» вполз в ворота и остановился. Выскочивший водитель-ефрейтор в кургузом мышастом мундирчике, трещащем на его крепко сбитой, борцовой фигуре, подобострастно распахнул широкую заднюю дверцу машины справа.

Первым из «майбаха» показался худошавый оберст в длиннополой дорогого темного сукна шинели с большим меховым воротником. Худое и морщинистое, до синевы выбритое лицо недобро блеснуло на Мюнше моноклем. Тут же распахнулась правая передняя дверца, и на свет показался, поводя плечами, поджарый, похожий на гончую и лицом и фигурой, гауптштурмфюрер Ренике. Начальник остбургского гестапо, как всегда, был туго затянут ремнем с португеей в стоящее колом, блестящее кожаное пальто глубокого антрацитового цвета.

Водянистые и неподвижные, словно рыбы, глаза Ренике разом охватили пустынную площадку перед административным баракком, скользнули по застывшим у крыльца штаба солдатам, по настороженным псам, предусмотрительно взятым охранниками на короткий поводок. И тут же взгляд Ренике уперся свинцом в изобразившего строевой шаг Мюнше.

Отто припечатал последний шаг в трех метрах от оберста:

– Хайль Гитлер! Господин полковник! Унтерштурмфюрер Мюнше. Исполняю обязанности коменданта лагеря Цэ-восемьсот пятнадцать...

– Отвратительно исполняете! – оборвал рапорт гауптштурмфюрер Ренике. – В лагере чепэ, а вы, Мюнше, корчите из себя строевика! Заплыли жиром от безделья! Восточный фронт по вам давно плачет...

«Какая сука! – подумал Мюнше. – Во время рапорта старшему по званию! А... Не такая уж это и фигура из абверовского штаба... Ренике, конечно, хам и наглец, но не до такой степени. Хоть и законченная сука!...»

– О Восточном фронте мы еще поговорим. – Голос у полковника оказался тихим и скрипучим. – А сейчас... как вас там...

– Унтерштурмфюрер СС Мюнше, герр оберст!

– Мы несколько озябли, Мюнше, и не имеем желания выслушивать на морозе ваш бодрый рапорт.

За спиной полковника и сочащегося злобой Ренике переминались с ноги на ногу еще два пассажира «майбаха», оба в штатском, среднего роста, похожие друг на друга своей бесцветной и незапоминающейся внешностью. Только одеждой и различались. На одном – серое короткое пальто с каракулевым воротником, каракулевая шапка-пирожок и белые бурки. Другой – в синем драповом полупальто с намотанным на шею пушистым серым шарфом, в высоких офицерских сапогах с голенищами-бутылками и в собачьего меха русской шапке с опущенными клапанами.

«Русские, – тут же безошибочно определил Мюнше, – помощнички сраные. Сволота изменничья...» Как и большинство сослуживцев, Мюнше с презрением и безразличностью относился ко всем этим пособникам из славян. Фольксдойче – это нормально, терпеть можно: голос крови и единый дух нации. А эти... За кусок пожирнее кого угодно продадут. При Советах, Мюнше убежден, тоже, скорее всего, за порядок ратовали, не в антибольшевистское же подполье играли. Им бы наиграли!.. А когда увидели наяву мощь великой Германии – сразу прибежали с этой самой... солью и хлебом. За салом и маслом!

Оберст шагнул от машины мимо Мюнше к штабу, кивнув застывшим в нацистском приветствии Лемке и командиру охранной роты унтерштурмфюреру Больцу. За ним двинулись Ренике и штатские. Мюнше поплелся следом, ощущая, как в животе переливается выпитая полчаса назад кофейная бурда. «Ну и сволочь же этот Лемке! Интересно, чего он там напел... Впрочем, это скоро выяснится... Ну, ничего, дружище, припомним еще...» Мюнше постарался отогнать размышления о способах отомстить доносчику и сосредоточился на ожидании дальнейших начальственных поползновений.

Лемке, щелкая каблуками, суетливо распахнул перед полковником дверь в кабинет коменданта лагеря. В жарко натопленном помещении оберст неторопливо разоблачился из своей богатой шинели, которая, как оказалось, имела добротную меховую подстежку.

Узкоплечий, еще более сухопарый, чем в верхней одежде, абверовский чинуша по-хозяйски расположился в кресле за двухтумбовой громадой стола, крытого зеленым сукном. Скривился и небрежно сдвинул в сторону увесистый и замысловатый письменный прибор – предмет особой гордости коменданта Цорна: комендант уволок это нагромождение грудастых бронзовых русалок из какого-то польского замка и уже четвертый год таскал повсюду за собой.

Мюнше машинально отметил, скользнув по орденам и ленточкам на мундире полковника, что все-таки птица прилетела важная: Железные кресты обеих степеней, Рыцарский крест. Последний для абверовцев заработать и вовсе не реально. Хотя...

Ренике привычно устроился в углу, в одном из кресел у маленького низкого круглого столика, за которым Цорн и Мюнше обычно по вечерам расписывали пулюку. Штатские сели на стулья, стоявшие в ряд вдоль стены, разрисованной лагерным художником под мореный дуб.

Мюнше навтыяжку стоял у дверей, чувствуя, как ему в затылок бесшумно, но жарко дышат Лемке и Больц.

Оберст достал из правого кармана галифе аккуратно сложенный белоснежный носовой платок и принялся методично протирать вынутый из глаза монокль. В повисшей тишине слышался только перелай овчарок у караульного помещения.

– Так как же получилось, Мюнше, – вкрадчиво нарушил тишину Ренике, – что четыре ивана преспокойно бегут из лагеря, а ваши болваны находят только троих? Не так ли, шарфюрер Лемке?

Лемке гулко шагнул вперед, плотно прижав ладони к бедрам:

– Господин гауптштурмфюрер! Беглец не мог далеко уйти. Две поисковые группы прочесывают лес в глубь от развилки шоссе, где были схвачены трое...

– Ренике, я полагаю, что мы продолжим беседу с исполняющим обязанности коменданта, – подал голос из-за стола оберст, неприязненно сверкнув протертым моноклем на Ренике.

«Так его, гаденыша, – с удовлетворением отметил Мюнше. – Много о себе мнят, шакалы мюллеровские...» Отто и в мыслях не относил себя к военной косточке – чего уж нет, того уж нет, – абверовцев, как и все в СС, тоже не переваривал, но за время службы, с потом и кровью, впитал: старший по званию или чину – это святое. И гестаповскому капитану лезть вперед полковника... «...А гестапо-то – бочка дерьма, куда более вонючего, чем абвер, – ни к месту, ни ко времени, ни с того ни с сего влезло в голову, – по крайней мере выкормыши адмирала, хоть и такие же хитрожопые засранцы, но не мясники, в интеллигентов играют... Ишь как с моноклем-то выпендрился, крыса серая...»

Лемке и Больц вымелись за двери.

– Присаживайтесь, Мюнше, – милостиво разрешил оберст и снова неприязненно скользнул моноклем по гестаповцу. – Наш друг Ренике меня не представил. Полковник штаба абвера «Валли» Рудольф фон Заукель. Да вы сидите, сидите, – остановил он рукою взметнувшегося со стула Мюнше. – А что за тип, этот пропавший русский беглец?

Мюнше снова вскочил со стула, шагнул к столу и, выудив из стопки бумаг картонную учетную карточку на заключенного, протянул ее оберсту:

– Военнопленный Барабин, лагерный номер одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь...

– Ну, номер важен для вас... – Абверовский бонза впервые оценивающе поглядел на Отто и опустил глаза на картонный прямоугольник. – Так... Барабин Степан Яковлевич, тысяча восемьсот девяносто восьмого года рождения, уроженец села Бельцы... Тамбовская область, русский, образование семь классов... А скажите, Мюнше, данные, вероятно, взяты при допросе, со слов этого самого Барабина?

– Так точно, герр оберст! В полевом фильтрационном лагере. К нам поступил уже с учетным документом, – в струну вытянулся Отто.

– Да-да, конечно. Проверять каждого военнопленного смысла нет.

– Смеею заметить, герр оберст, штаты администрации полевого фильтрационного лагеря не позволяют проводить тотальную проверку личности каждого заключенного, – осторожно проговорил Мюнше, уже предчувствуя что-то пакостное.

– ...Итак, до призыва на службу в армию работал слесарем в эмтеэс, – продолжал вслух зачитывать анкетные данные беглеца Заукель. – Ренике, а вы знаете, что такое «эмтеэс»?

Гестаповец равнодушно пожал плечами:

– Какая-нибудь красная ремесленная мастерская. У них этих аббревиатур...

– Как и у нас же, – ехидно бросил Заукель и повернул узколобую, породистую голову с безукоризненным пробором в сторону одного из штатских. – Объясните, Климов, господину гауптштурмфюреру содержание этой аббревиатуры. Этого буквенного сокращения, черт вас возьми, Климов, – добавил с легким раздражением, видя, что штатский его поначалу и не понял.

– Машинно-тракторные мастерские, герр полковник! – вскочил штатский в белых бурках, держа двумя руками перед грудью свой каракулевый пирожок. – Создавались для обеспечения тракторной техникой нескольких колхозов.

– Достаточно, Климов, – сделал рукой отмашку Заукель и снова опустил глаза в учетную карточку. – Так-с... В армию призван в августе сорок первого года. Вскоре дезертировал и скрывался. В сентябре сорок второго оказался в Минске, попал в облаву, был направлен в фильтрационный лагерь ГП-451, после его расформирования направлен сюда...

Оберст поднял глаза на Мюнше.

– А скажите-ка, унтерштурмфюрер, каким образом вы установили личность бежавшего среди двух с лишним тысяч единиц лагерного контингента?

– В соответствии с инструкцией, путем сличения присвоенных лагерных номеров, герр оберст! – отчеканил Отто.

– Я так понимаю, что процедура сличения заключается в сопоставлении номера на карточке у лагерписаря с номером на одежде заключенного? – уточнил Заукель.

– Так точно, герр оберст! – снова проорал Мюнше.

– Не сотрясайте вы так воздух, Мюнше, – поморщился полковник и обратился к Ренике. – Интересные инструкции в вашем ведомстве, Ренике. Получается, стоит кого угодно переодеть в униформу заключенного... этого самого номера... – абверовец скосил глаза на учетную карточку, – одиннадцать-восемь-шестьдесят семь, и он – превращается в Барабина? А у вас здесь номер даже не на униформе. Во что этот сброд одет, на том и рисуете. Хлоркой?

– Так точно, герр оберст! – снова проорал Мюнше, но уже на полтона тише. Абверовский полковник вновь пристально оглядел Отто. «Оценивает, бонза холеная, стопроцентный я идиот или нет, – зло мелькнуло в голове у замкоменданта лагеря. – Сидят, твари, в Берлине или, на худой конец, в генерал-губернаторстве, коньячок лакают, а тут...»

– Это не наша инструкция, – буркнул недовольно Ренике. – Все, что касается лагерей, клепают ребята из отдела «Дэ-два» ВФХА, а мы, как известно, являемся четвертым управлением Главного управления имперской безопасности...

– Какая разница, Ренике, ВФХА или РСХА, – безразлично проговорил Заукель, вчитываясь в записи учетной карточки, – под вашим ведомством я подразумеваю славный орден СС – передовой, так сказать, отряд германской нации. Не так ли, Ренике?

– Безусловно, господин полковник, – только и нашелся что ответить гестаповец.

«Умыл лису абверовец! – с ехидством подумал Мюнше. – Заставил признать, что тупорылые инструкции – гестаповские штучки. Везде, каналы вонючие, проникли, по клозетам готовы принохиваться: а не вырвется ли из бюргерской задницы непатриотический душок...»

Саркастические мысленные комментарии едва не лишили Отто возможности услышать новый вопрос полковника Заукеля.

– ...уверены, что исчезнувший русский – Барабин?

– Для лагерей нашей категории иных способов идентификации заключенных не предписано, герр оберст. Номерной учет и надзор капо: один надзиратель на сто заключенных, герр оберст.

Заукель несколько секунд постукивал по краю стола кончиками сухих и нервных пальцев. Снова стало слышно, как на улице перелаиваются сторожевые псы.

– М-да... Ваш загон для этого скота, конечно, не Дахау и не Заксенхаузен. Вновь прибывшие в лагерь заключенные не фотографируются и не татуируются. Капо, естественно, назначается из этой же массы, отвечает за трудовую выработку заключенных, за тем, чтобы не было саботажа на работах, следит за порядком в бараке. Если заключенный из общей массы не выбивается по этим критериям, то его для капо вроде бы и нет... – раздумчиво произнес абверовец. – Что ж, воспользуемся предоставившейся возможностью убедиться, сбежал из-под вашей опеки, Мюнше, этот Барабин или нет... Ренике, введите унтерштурмфюрера в курс дела, а то у него от мозговых потуг скоро разлетится череп.

Заукель чуть скривил в усмешке губы и отвернулся к окну.

ГЛАВА 3. КЛИМОВ

Сознание вернулось с разламывающей голову болью, к которой прибавился непреодолимый озноб. Он нарастал и, казалось, уже колотил тело с такой силой, что это заметно должно проявляться и внешне. Но перед мутным взором, на вертикальной белой поверхности продолжали деловито копошиться снегири. К одиночке-смельчаку добавилось несколько его собратьев, которых интересовали уже не ольховые шишечки, а чуть побуревшие под солнечными лучами, еще недавно алые, бусинки вокруг черной громадины лежавшего под ольхой человека.

Вертикальная белая поверхность стояла незыблемо. Снегири медленно и осторожно подступали все ближе и ближе. Они уже казались большими, как куры. Человек только догадывался, что это снегири. А может, это были вовсе и не снегири. Заполнившая глаза мутная влага мешала рассмотреть птиц отчетливо. Простые мысленные команды, посылаемые куда-то вниз, к рукам, почему-то не проходили. Словно не было ни рук, ни ног. Ни тела. Только голова с разламывающей болью и трясучка озноба. Он отнимал последние силы, которых хватало лишь на то, чтобы вяло перекатывать в лопающемся мозгу обрывки мыслей. Про копошащихся рядом птиц. О том, что вертикальная белая поверхность на самом деле горизонтальна, и это он, пытающийся собрать жалкие обрывки мыслей в подобие целого, лежит плашмя на белой поверхности, не в силах повернуть или приподнять голову.

Силы кончились еще там, у незамерзающего ручья... Свистящий клекот надсаженных легких не мог, при всей своей оглушительности, перебить нарастающий лай лагерных псов. Когда остервенелый лай овчарок, еще невидимых за ельником, стал нестерпимым, в сумеречном свете забрезжившего утра у ног задымился ручей – темная, чернильная лента между белых бугров, из которых густо, непролазно вздымался покрытый мохнатым куржаком ивняк. В первое мгновение полоса тягучей черной воды показалась пропастью, отрезавшей путь к спасению. Но тихо падающие сверху снежные хлопья словно передали свое спокойствие, чуть уняли клекот в раздираемой острой болью груди. И человек понял, что, если сейчас он не заставит себя сделать шаг вперед – будет хуже. Псы слышались совсем рядом.

И тогда человек с размаху шагнул в воду, охнув от неожиданно большей, чем он предполагал, глубины. Ручей схватил почти по пояс, но вода показалась такой теплой и ласковой, что на какое-то время даже вернула часть напрочь истраченных сил. Это позволило почувствовать некую покатошь дна, выйти на мелководье, быстрее удаляться от опасной точки на берегу. Но вскоре вода начала проникать в тело свинцово-тяжелым холодом, поднимавшимся снизу и отнимающим те крохи сил, которые еще позволяли двигаться. Человеку казалось, что он еще бежит по ручью, но уже давно он только тяжело брел, спотыкаясь и падая, сбивая головой и плечами куржак с ивовых ветвей, хватаясь иссиня-багровыми руками за хрупкую ненадежность кустов.

И все-таки злобный собачий лай потерялся далеко за спиной. Это человек понял, когда пришел в сознание. Далеко не сразу ему удалось понять, что он лежит наполовину в воде, у черного камня. От тягучей головной боли мутило. Человек не знал, что в беспмятство его бросил вот этот самый черный камень, на который его опрокинуло, когда он споткнулся в очередной раз. Человек долго слушал тишину зимнего утра. А может, это был уже полдень. Сейчас это интересовало мало, вернее, почему-то не интересовало вовсе. Человек насколько возможно обратился в слух. Жаркая боль в голове, хрипящее дыхание мешали слушать главное – погоню. Нет, ее не было – он слушал долго.

Гримаса беззвучного смеха появилась на исцарапанном почерневшем лице. Удалось встать на колени, выбраться из ручья, потом, опираясь на шершавый ствол дерева, подняться на ноги. Теперь от ручья надо было уходить как можно дальше, пока с неба продолжают спсительно падать невесомые снежные хлопья. С трудом вспомнив, что от собак он уходил по

ручью вниз, человек сумел сорентироваться в нужном направлении. Уходить! Уходить ради прибинтованного к телу матерчатого лоскутка, уходить во имя пошедших на смерть трех товарищей, которые уведут погоню за шоссе на развилку.

Скисший Ренике оживился, резво выбрался из кресла и подступил к Мюнше чуть не вплотную.

– Климов, – обратился он, не поворачивая головы к «каракулевому», как для себя Отто обозвал русского в белых бурках, – расскажите господину унтерштурмфюреру, кто такой Барбин или как там его...

Глазами Ренике буравил Мюнше почище двух сверл.

– Яволь, господин гауптштурмфюрер, яволь! – «Каракулевый» резво вскочил в очередной раз и принялся выталкивать из себя коверканные немецкие фразы:

– Это есть чекист! Энкавэдэ! Я его найт по Москау. Чекист!

Отто Мюнше почувствовал, как заныло в кишках, задрожали колени. В горло отрыгнулось треклятым желудевым кофе! Кровь и железо! Проклятая жизнь! Перед глазами вновь встал тот русский медведь, набегающий на танк, руки снова ощутили неподатливое железо затвора заклинившего пулемета...

– Что теперь скажете, Мюнше? – прищурился гестаповец.

– Ренике, перестаньте пугать унтерштурмфюрера! – с издевкой вмешался Заукель. – Нельзя быть настолько жестокосердным. Великий Шатобриан – вы знаете, кто это, Ренике? – так вот, Шатобриан как-то сказал, что надежда – кормилица несчастных, приставленная к человечеству, как нежная мать к больному ребенку. Она качает его на своих руках, подносит к своей неиссякаемой груди и поит его молоком, утешающим его скорби. Не лишайте, Ренике, унтерштурмфюрера надежды, он и так несчастен в этой русской дыре. Дайте ему шанс, Ренике!

По губам полковника скользнула едва заметная улыбка. Он откровенно наслаждался сложившейся ситуацией.

– Яволь, герр оберст, я дам ему этот шанс, – зловеще откликнулся гестаповец. – Но если этот шанс, Мюнше, вы бездарно упустите, и – майн гот! – лопнет очередной ваш мыльный пузырь... Восточный фронт, Мюнше, тогда утолит ваши скорби лучше любой пышногрудой мутер...

Ренике довольно грубо тряхнул Отто за нагрудную пряжку портупеи и неожиданно добавил медоточивым тоном:

– Признаюсь, дорогой Мюнше, мы виноваты взаимно. Вы тут с Цорном недостаточно активно проверяли своих подопечных, а у нас не доходили руки до вашего лагеря. Из-за напряженнейших, ежедневных усилий по борьбе с этими чертовыми лесными бандитами...

«Это проныра гестаповская для абверовца жалится! – усмехнулся про себя Отто, чувствуя, что ему отчего-то глубоко наплевать на все эти угрозы. – Надорвались они, видите ли, в борьбе с партизанами! Да тут за ворота лагеря выходить опасно! Не знаешь, из-за какого куста пуля прилетит!...»

– ...Однако, – Ренике уже избавился от минутной елейности, вернувшись к прежнему зловещему тону, – а что же делали все эти ваши капо, старосты, блок- и рапортфюреры вместе с лагерным политическим отделом?

– Политический отдел нам по штату не положен: наполняемость лагеря относится к низшей категории. Указанные полномочия входят в должностные обязанности лагерфюрера – адъютанта коменданта лагеря унтерштурмфюрера Бергера, – машинально отчеканил Отто.

– А охрана лагеря – ваша прямая обязанность! – Глазки лисы Ренике налились злобой.

– Бергер... хм... забавно... – раздался голос полковника Заукеля. – Не состоит, Мюнше, ваш Бергер в родстве... Откуда он? Не из Вюртемберга?

– Из Гамбурга, герр оберст.

– Далековато, – разочарованно произнес Заукель, – хотя... Всякое бывает. Может, какая-нибудь дальняя родня...

Ренике отстал от Мюнше и с подозрением поглядел на абверовца.

– Вы намекаете...

– Вот что, господа... – Словно не слыша гестаповца, повернулся к притихшей парочке штатских Заукель. – Попрошу вас безотлагательно осмотреть трупы беглецов. При отрицательном результате начинайте визуальное опознание контингента, время дорого. Господин унтерштурмфюрер, – теперь он уже обратился к Мюнше, – дайте команду лагерфюреру заняться с господами Климовым и Грачко.

Отто щелкнул каблуками и вышел. Русская парочка последовала за ним.

Далеко идти не пришлось. Мюнше хотел озадачить Бергера по телефону из канцелярии, полагая, что тот крутится где-нибудь на территории, но лагерфюрер терся в коридоре штаба, у кабинета административного отдела. «В готовности, тупоголовая скотина, пребывает, – отметил без удивления Отто, – как чует... Интересно, чего это абверовец про него расспрашивает?» Мюнше – на всякий случай вежливо и тактично – распорядился, Бергер козырнул и подался с русскими в зону, а Отто без промедления вернулся в комендантский кабинет.

– ...его старший сын Вольф командовал взводом в первой роте «Лейбштандарта СС «Адольф Гитлер»» и погиб в феврале в бою, – со скорбью в голосе рассказывал как раз Заукель гестаповцу. Увидев застывшего на пороге Мюнше, полковник сделал разрешающий жест.

– Мы всё о Бергерах. Скорее всего, однофамильцы. Покажите, Мюнше, список личного состава администрации лагеря.

Отто суетливо зазвенел ключами, отпер несгораемый шкаф, вытащил из его глубины переплетенный в коленкор журнал по учету кадров и положил перед полковником. Тот внимательно прочитал все, что содержалось на разлинованных по установленной форме страницах о Бергере, и устало отмахнулся.

– Я был прав. Однофамильцы. Кстати, замечу вам, Ренике, что обергруппенфюрер Бергер не только достойный руководитель Главного управления СС и личный представитель рейхфюрера СС в Имперском министерстве восточных оккупированных территорий, но и, по моему глубокому убеждению, один из талантливейших теоретиков рейха! Вы, Ренике, знакомы, надеюсь, с учебником «Недочеловеки», выпущенным в сорок первом?

– Штудировали! – с гордостью ответил Ренике. – В рамках программы специальной подготовки для работы в эйнзатцгруппах.

– И где же вы служили, если не секрет? – спросил Заукель с еле уловимой, как показалось Отто, брезгливостью. Наверное, показалось, потому как Ренике отвечал с горделивым апломбом:

– Эйнзатцгруппа «Б», зондеркоманда «Семь-А». Зона ответственности четвертой танковой и девятой полевой армий.

– Я так понимаю, что ваши заслуги по очистке тыла наступающего вермахта и привели вас к нынешнему служебному положению? – подытожил абверовец.

– Не без этого, – ухмыльнулся Ренике. – А при чем тут, господин полковник, этот учебник и Бергер?

– Бергер, дорогой Ренике, способствовал выходу этого занимательного труда в свет, внес в него дельные мысли. Не припоминаете, как там прописано об русских иванах и прочих народах большевистского Союза?

– Прекрасно помню, герр оберст. – Ренике упивался столь удачным стечением обстоятельств. Умыть лощеного аристократа, кичащегося своими энциклопедическими познаниями и высококультурьем, – о, какое блаженство! – Могу процитировать по памяти: «Народы СССР – послед человечества, в духовном отношении ниже животного».

– Bravo, Ренике! – Заукель изобразил ладонями несколько сухих хлопков. – Однако к делу. Вам не кажется, господа, что умозаключения ваших коллег из витебского гестапо имеют некую червоточинку?

– Что вы имеете в виду, герр оберст? – насторожился гестаповец.

Заукель ответил не сразу. Он несколько минут смотрел за окно: как ефрейтор, шофер «майбаха», постукивая ногой об ногу, копается в моторе. Потом медленно отвернулся от окна и сосредоточенно уставился на гауптштурмфюрера.

– Я имею в виду, дорогой Ренике, первоначальную информацию по лагерю. Итак, трое бежавших есть не просто военнопленные, а явные большевики, тогда как четвертый – уголовник. Кто у нас в бегах и чьи трупы мы имеем?

Запиликал телефон внутренней связи. Мюнше вопросительно глянул на абверовца. Тот кивнул, и Отто схватил трубку.

– Мюнше у аппарата.

– Герр унтерштурмфюрер, – голос Бергера звучал уныло, – русские среди мертвецов Барабина не опознали. Как я понял, начинаем проверку по баракам?

– Да. И никакого чтобы движения, ни одного перемещения! – отрывисто бросил Мюнше. Он осторожно опустил трубку на рычаги и перевел глаза на полковника.

– Итак, чекиста среди покойников нет? – полуутвердительно спросил Заукель. – Следовательно, в мертвецах у нас два большевичка и уголовник.

Мюнше опустил голову. Ренике глухо выругался.

– Сколько времени займет проверка, унтерштурмфюрер? – от интеллигентного тона оберста не осталось и следа, только холод и сталь.

– Три часа, герр оберст!

– Мюнше! Ускорить! Идите и водите этого Климова, как мопса на поводке! А нам – кофе и бутерброды. Только избавьте от вашей традиционной бурды! – приказал Ренике, возвращаясь в кресло у круглого столика.

Отто первым делом кинулся в свою комнату. Пакет кофейных зерен Отто, забежав в канцелярию, сунул фройляйн Анне: смолоть на чем угодно, хоть разжевать, а заодно и поджарить на собственном зад, но приличный кофе немедленно сварить, приготовить бутерброды и отнести гостям! И со всех ног поспешил в барачную зону.

Тем временем в кабинете коменданта лагеря продолжался непростой разговор.

– Вы многого не договариваете, полковник! – снова нервно расхаживал по кабинету Ренике. – Мы играем втемную. Что за фигура этот Барабин? Не держите меня за болвана!

– Полноте, Ренике, какие между нами тайны! – усмехнулся Заукель. – Мною получена команда – доставить Барабина в Берлин. Еще неделю назад я и не подозревал, что в лагере Цэ-восемьсот пятнадцать есть какой-то Барабин, интересующий самое высокое начальство. Кстати, открою вам, Ренике, страшный секрет: мне намекнули, что информация об этом Барабине исходит из вашего ведомства.

– Польщен, герр полковник, вашей откровенностью! – Ренике с издевкой шаркнул ногой. – Позволю лишь себе заметить, что ваш «страшный секрет» несколько минут назад озвучил этот славянский выкормыш Климов, сейчас обнюхивающий лагерное быдло.

– А вы внимательны, гауптштурмфюрер, – скупое растянул губы в улыбке Заукель. – А вот с Климовым – несправедливы. Им оказаны неплохие услуги рейху. Почти два десятка лет тайной борьбы с большевиками! И где! В Кремле!

Ренике недоверчиво посмотрел на самодовольного оберста. Но тот лишь загадочно опустил веки: дескать, и так сказано лишнее. «Играет, играет в откровенность! – зло подумал гестаповец. – Ну, играй. А мы тебе в болвана подыграем...»

– Два десятка лет в Кремле? Высокие заслуги? Почему же в итоге фактически рядовая должность в витебском гестапо?

Начальник гестапо с максимально разыгранной недоверчивостью уставился на абверовского полковника.

– Иногда, дорогой Ренике, даже крошечная должность по хозяйственной части приносит неизмеримо полезную информацию...

«Скорее всего, этот Климов чистил кремлевские нужники, а хозяевам из абвера таскал обгаженные бумажки из сортирных корзин, – подумал Ренике. – Да и то до поры до времени... Вот был бы он там сейчас... А приятно, черт меня подери, ткнуть абверовскую бонзу носом во все это шпионское дерьмо! Кремлевский агент ныне – пешка в провинциальном гестапо!..»

– Но в итоге? – Ренике насмешливо смотрел на абверовца.

– Ренике... – укоризненно протянул полковник. – А проштудированный вами учебник?

– Зачем же тогда меня обвинять в несправедливости к господину Климову?

– Логично и – повторно «браво», герр гауптштурмфюрер! Увы, на определенном этапе освоения восточных территорий нам нужны эти климовы. Кстати, а как вы думаете... Что делать с умным славянином, который готов служить рейху? На общем фоне ублюдочного стада, тоже предлагающего свои услуги? Уголовники, предатели, обиженные властью, те, кто проиграл Советам в вооруженной борьбе два десятка лет назад, наконец, те, которых красные называют «бывшими», мечтающие вернуть всё, чего они лишились из-за красной революции. Все вместе они – те самые не-до-че-ло-ве-ки, как и ныне еще хозяйствующие в России большевички и управляемые ими индустриальные пролетарии и колхозные пейзажи. Не так ли? Однако нельзя не признать, что среди всей этой биомассы попадаются любопытные экземпляры. Тот же Климов. Хотите, расскажу вам, чем он занимался в Кремле?

– Нужна ли мне лишняя головная боль от знания еще одного секрета абвера?

– Да это уже и не секрет, а пища для забавных мемуаров.

– Оказанные рейху, как вы выразились, герр оберст, неплохие услуги в борьбе с большевиками – пища для забавных мемуаров?!

– Не ерничайте, Ренике. В восемнадцатом году, когда правительство Ленина переехало из Петербурга, вернее, тогда это уже был Петроград, в Москву, господин Климов устроился в строительный отдел Кремля и работал там до тридцать восьмого года! – Заукель наслаждался произведенным на гестаповца эффектом. Конечно, наслаждение было не от того, что этот Климов пробрался в святая святых большевиков, а от того, что об этом осведомлен он, Заукель. Заносчивому шефу захолустного, по сути, отдела гестапо полезно лишний раз прочувствовать, с кем он имеет дело.

Ренике и впрямь, с неподдельным почтением, напрочь лишившись ехидства и апломба, уставился на абверовца.

– Так вот, дорогой Ренике... – Заукель самодовольно и снисходительно обозревал собеседника. – Климов двадцать лет организовывал мелкие и крупные ремонты в помещениях главного большевистского замка, а во время ремонтов слушал в оба уха, подбирал и переправлял нам всевозможные документы, которые комиссары в Кремле полагали макулатурой и выбрасывали во время временных переездов из ремонтируемых помещений. Вроде бы никчемные и ненужные бумажки, – снисходительно разъяснил Заукель, увидев на лице гестаповца разочарование, – но вы же, Ренике, понимаете, как из крупиц складывается общая картина... Разведка, мой любезный друг, это скрупулезный, зачастую наполненный рутинной труд.

Фон Заукель протяжно и глубоко вздохнул, обозначив тяжесть агентурного труда и его организации в широких масштабах.

– Но почему сегодня ваш Климов в затрапезном Витебске и в гестапо, а не в вашем ведомстве? Такой агентурный опыт... Вы разбрасываетесь кадрами, полковник... – все-таки не удержался Ренике.

– Долгая история, мой любезный друг. Двадцать лет тайной войны против Советов выдерживает не каждый, – снова вздохнул Заукель. Гестаповец, что и говорить, уел, пакостник! Полковник многозначительно замолчал. Собственно, ничего он больше о «кремлевской работе» Климова и не знал. За исключением кратких сведений по итогам проверки, которую этому русскому устроили, когда всплыла история с Барабиным.

Заукелю поручили работать с Климовым – искать Барабина. Тогда и ознакомили с биографией агента. Вернее, с тем ее фрагментом, который охватывал злключения Климова после тридцать восьмого года. Замена в ноябре 1938-го всесильного наркома внутренних дел СССР Ежова на Лаврентия Берия стало последней каплей для и без того переполненного многолетним страхом Климова. Очередной чистки можно было и не пережить.

В поле зрения германской разведки Климов попал в начале тридцатых, вполне банально: бабы, пьянство, разгульный образ жизни, жадность, неумная любовь к деньгам и хмельная похвальба местом работы. В одной шумной компании, крепко выпивший Климов рассказал такое, что могло не только поставить точку в его «кремлевской карьере», но и на его жизни.

Речь шла о сверхчрезвычайном происшествии, случившемся в Кремле в сентябре 1922 года. В тот период Климов работал курьером строительного отдела управления делами ВЦИК. К 1922 году прогрессирующая болезнь вождя мирового пролетариата стала настолько очевидной, что его окружение и родные решили кардинально поменять условия работы вождя в Кремле: обязали хозяйственников построить на крыше здания, где располагалась шестикомнатная квартира частенько болевшего Ленина, крытую веранду. Дабы глава государства всегда мог подняться туда, спокойно отдохнуть и подышать свежим воздухом. Работа предстояла большая: помимо веранды планировалось оборудовать лифт из квартиры на крышу, а, дополнительно посоветовавшись с сестрами и женой Ильича, находившегося в то время в Горках, глава кремлевской хозслужбы – секретарь ВЦИК Амель Енукидзе дал команду заодно капитально отремонтировать и квартиру вождя. Планировалось все работы завершить к 1 октября, когда Ленин собирался вернуться в Москву.

Но работы неоправданно затягивались. Ремонт в квартире первого человека государства шел, как и везде – ни шатко ни валко. Во второй половине сентября ситуацией заинтересовался И. Сталин. И надо же было такому случиться, что именно он, появившись в ленинской квартире вместе с начальником отделения ГПУ по охране руководства страны Абрамом Беленьким, увидел, что оставленные на время ремонта в квартире шкафы носят явные следы... взлома! О случившемся было доложено Дзержинскому, который немедленно поручил расследование начальнику следственной части и юридического отдела ГПУ Владимиру Фельдману.

Место происшествия Фельдман осматривал комиссионно: вместе с А. Беленьким, исполняющим обязанности коменданта Кремля А. Лашеновым и заведующим стройотделом управления делами ВЦИК И. Чинилкиным. Оказалось, что большую часть мебели перед ремонтом обшили рогожей и из помещений вынесли. Но часть шкафов осталась в квартире, и на двух из них действительно видны следы взлома. Замок одного из шкафов ковыряли гвоздем, у другого – ломали стамеской дверцу.

Интенсивные допросы выявили следующее. Ремонтные работы в квартире вождя производили рабочие конторы «Московское Строительное Дело» под началом архитектора Иванова и инженера Леонова. Вначале было занято 10–15 человек в одну смену, а затем, в связи с расширением масштаба работ и нарушением сроков, в самой квартире, на обустройстве лифта, монтаже приточно-вытяжной вентиляции и на сооружении веранды на крыше здания в одну смену работало до 160–170 человек. Работы же велись круглые сутки.

Завстройотделом Чинилкин на допросах показал, что постоянного состава рабочих нет, бригады сборные, из разных цехов подрядчика. Чекисты их фактически не проверяли, вся ответственность лежала на заведующем стройотделом. Он заверял имена и специальности рабочих в общем списке, по которому комендатура Кремля выдавала месячные пропуска для ускоренного входа в правительственную резиденцию. Все меры охраны были сведены лишь к тому, что в здание рабочие поднимались по наружным строительным лесам, сразу же попадая в ремонтируемые помещения. На лесах располагался часовой, проверявший пропуска и следивший за тем, чтобы не выносились никакие вещи. Допускалась лишь доставка строительных материалов и стройинвентаря. Внутри помещений днем и ночью дежурили по три чекиста из комендатуры Кремля. Один ходил по передним комнатам квартиры, другой – по коридору, третий наблюдал за задней комнатой и кухней.

Однако чекистское расследование ни к чему не привело. Сестра Ленина, Мария Ильинична, осмотревшая содержимое шкафов, подвергшихся взлому, о пропаже чего-либо не заявила. Осмотр показал, что «характера перерытости не было». В общем, кто-то вскрыть-то шкафы вскрыл, но ничего не взял или не успел взять. И шкафы чекистами были опечатаны. Применить дактилоскопию главный чекистский следователь Фельдман не смог – все возможные следы уничтожили многочисленные осмотры взломанных шкафов. В итоге «громкое» дело потихоньку прикрыли. Арестовать всех рабочих, участвовавших в ремонте ленинской квартиры, руководство ГПУ не решилось: политический ущерб при огласке ЧП в квартире вождя не шел ни в какое сравнение с поимкой взломщика-неудачника (или взломщиков). Но Ивану Чинилкину и еще ряду ответработников управления делами ВЦИК, как и сотрудников комендатуры Кремля, впоследствии это обойдется дорого. Но впоследствии.

Вот о чем разглагольствовал хмельной Климов в веселой компании. Чекистского уха, к его счастью, в ней не оказалось, а вот германское ушко нашлось. Так у немецкой разведки появился перспективный, по ее мнению, источник. Однако довольно скоро разведчикам Третьего рейха стало понятно: насчет перспективности Климова они погорячились. Мелкотравчатый получился агент, трусливый, ненадежный. А в конце 1938 года и вовсе пропал.

Всплыл Климов в сентябре сорок второго года в Минске. Явился в гестапо с сообщением о высокопоставленном чекисте. Опознал на минской улице, но выследить не сумел, точнее, побоялся. А свела их судьба впервые совершенно случайно: в 1938 году Климов несколько раз видел его среди сотрудников центрального аппарата НКВД, приезжавших по служебным делам в управление делами ВЦИК. Какую должность занимал чекист, какое звание носил в то время, этого Климов сказать не мог, но клялся и божился, что не ошибается. Он и в минское гестапо прибежал с детским лепетом: мол, большого чекиста из Москвы на улице встретил. Фамилию не знаю, но видел в самом Кремле!

Климов ни за что бы не сунулся с этим в гестапо, кабы не крайняя нужда.

Когда он, испугавшись разоблачения, скрылся из Москвы, пришлось изрядно помотаться по стране. Но где приткнешься? К новому человеку везде вопросы. Тем более, у органов НКВД. И Климов подался на запад, в надежде перебраться в Польшу. Были там кое-какие родственные зацепки, старые, седьмая вода на киселе. И предполагать не мог Климов, что как раз на западе заварится в это время такая каша: вначале Западная Белоруссия и Западная Украина «триумфально» будут присоединены к СССР, а потом Гитлер начнет войну с Польшей, и обстановка на границе и в приграничной зоне станет такова, что не Климову туда соваться.

В общем, удалось осесть в Минске у одной бабенки сомнительных занятий. Позже сожительница посодействовала, через уголовную шантрапу, выправить сожителю удобоваримые документишки на чужое имя. Климов устроился на невзрачную работу в мелкую заготконтору, попутно промышляя спекуляцией и сбытом краденого. А куда деваться? С кем поведешься...

Ожидание войны с Германией носилось в воздухе. И Климов на что-то надеялся, сам не зная на что.

Двадцать второго июня и вообще залег на дно, загодя раздобыв «белый билет» – липовую справку об инвалидности. Когда на минских улицах заскрежетали гусеницы танков вермахта, а после появились расклеенные чуть ли не на каждом столбе и афишной тумбе первые распоряжения новой власти, тут Климов затылок почесал изрядно. Растерялся. Ведь как всё виделось-то: заслуги зачтутся! Но оккупационные власти с населением не церемонились. И Климов понял, что ему очень сложно будет объяснить бегство из Москвы. Пожалуй, даже сложнее, чем – не приведи, господи! – в НКВД. Получалось, что дал деру и от своих тайных хозяев. О-хо-хо... В мирной-то обстановке что большевички, что германцы чикаться с ним не стали бы, а уж нынче...

Шло время. И это работало не в пользу Климова. Столкнувшись осенью сорок второго на минской улице с московским чекистом, понял: это шанс. В том, что германцы пришли всерьез и надолго, скорее всего, навсегда, Климов, узрев мощь немецкой военной машины, к тому времени уже не сомневался. Так что в гестапо преподнес свою жизненную одиссею героически: верно и длительно служил рейху, но проклятые чекисты сели на «хвост», пришлось скрываться. Вот кое-как, в военной неразберихе, выбрался из Совдепии. А дальше путь держал к родне в Польшу. Попробуй, проверь. Еще до встречи с чекистом, Климов не раз и не два выстраивал приличную легенду своих мытарств после тридцать восьмого года.

И хорошо, что загодя этот кусок биографии сконструировал. Трясли в гестапо дотошно. Поначалу жестко обошлись, но ничего – отболтался. Подсыпал кремлевских небылиц из старых запасов. Отболтался. С кровавой юшкой, слезами и деланой обидой. Обиду играл в меру, – не то оскорбятся и шамальнут из парабеллума в лоб. Отболтался, сыграл. Отвязались в конце концов, сунули-таки на должность сотрудника витебского гестапо. Климов наконец-то вздохнул с облегчением, хотя, чего уж, разочарованию не было предела. А с другой стороны – спасибо и на этом.

Да только недолго музыка играла. Климов и не предполагал, что сообщение о московском чекисте вызовет такие волны. Недели две спустя, когда еще его самого, Климова, трясли и проверяли гестаповцы, ему предъявили на опознание фотографию чекиста. Свеженькую фотографию! Уже после Климов узнал, что встреченный им человек... с совершенно нечекистской биографией оказался в числе курсантов разведшколы абвера! И как раз в сентябре сорок второго из школы пропал, как в воду канул. Не настолько он, Климов, глуп, чтобы не понять: из-за рядового курсанта абвершколы шум в Берлине и розыски устраивать не будут.

С тех пор Климов и приставленный к нему сотрудник разведшколы абвера Грачко колесили по лагерям военнопленных.

И все из-за того, что в минской комендатуре один глазастый фельдфебель с пеной у рта утверждал, что человек, запечатленный на предъявленной фотографии, в тот же день, когда его потерял из виду Климов, был задержан во время облавы и отправлен в лагерь ГП-451. И в лагере пропавшего опознали по фотографии! Более того, у неизвестного оказалась новая фамилия: Барабин. А в разведшколе абвера он по-другому звался. Что это? Поразительное внешнее сходство или нечто иное? Ситуацию могло прояснить только одно: Климов воочию опознает чекиста, а Грачко подтверждает, что пропавший курсант разведшколы – этот самый московский чекист. Не сразу, при всей аккуратности учета, удалось разобраться в распределении контингента из расформированного лагеря ГП-451. И снова в дело вмешался дьявольский закон подлости! Поиски вывели на остбуржский лагерь. А здесь, у этих уродов! – побег. И искомый «Барабин» – в числе сбежавших!

Фон Заукель в случайности не верил. Барабин или не Барабин, но какой резон курсанту разведшколы, уже проверенному достаточно тщательно, не первый месяц пребывающему на учебе, зарекомендовавшему себя вполне положительно, вплоть до получения такой льготы, как свободный выход в город, – какой резон все это перечеркивать? Успешно внедриться во вражеский разведорган – и поставить на этом крест... Нет, попав в облаву, чекист поступил нело-

гично. Достаточно было сообщить патрулю о своей принадлежности к разведшколе – и ситуация довольно скоро разрешилась бы без проблем. Почему он не сделал этого? Почему? Почему предпочел оказаться в лагере? Полковник постоянно возвращался в своих мыслях к этому, но пока ответа для себя не находил. В нелогичном поступке чекиста, конечно, был скрытый смысл, но какой? Сбежать? Но из разведшколы и сбежать не надо: вскорости забросили бы к большевикам в тыл – вот ты и дома, прибыл, так сказать, со всеми германскими удобствами! Черт их поймет, этих славян! Странная, загадочная порода...

– ...Все они ждут кусок жирного пирога за свои услуги. Боятся нас, ненавидят и ждут жирного пирога! Они думают, что это позволит им избавиться от страха. Ха-ха-ха! Жирный кусок избавит от страха! – Ренике уселся на стул верхом и ударил кулаками по его спинке.

Фон Заукель вынырнул из раздумий. О чем это он? Ах, да, остбургский гестаповский интеллектual продолжает философствовать!

– Страх живет в каждом человеке, – автоматически вставил Заукель.

– Кто же спорит! – засмеялся гестаповец. – Человеческие страхи – многолики. Страх боли, страх высоты, страх смерти... А есть страх быть обманутым. Самый главный страх. Узнать, что ты обманут – это потерять всё, это потерять веру и смысл жизни.

– Bravo, Ренике! Вы начинаете мне определенно нравиться! – Заукель заставил себя снейзойти еще до нескольких сухих хлопков ладонями. – И мы всё это, как вы выразились, ублюдочное стадо уже давно, заведомо обманули, но они еще об этом не догадываются. Bravo, Ренике!

– Bravo-брависсимо... – угрюмо откликнулся Ренике. – Когда они догадаются, то мы в одночасье обретем кучу злейших врагов, которые будут норовить всадить нам нож в спину. И нам придется перебить их, как бешеных псов.

– А как же другие страхи? Боли, смерти? Эти страхи разве позволят им схватиться за нож?

– Потеря веры может пересилить страх смерти или боли. Даже у трусливого ублюдка. Для него потеря веры – это потеря надежды на жирный кусок. Какая другая у него вера? У животного только инстинкты – жрать, пить, размножаться... Не дай ему этого – развивается бешенство. А что мы им желаем дать? – Ренике незаметно перешел на менторский тон. – Недочеловекам? Жизненное пространство необходимо арийской нации, поэтому никакой новой России, свободной от большевиков, не будет. Ни царя для монархистов, ни хутора с плодородным черноземом для этого... как это у русских...

– Кулака!

– Да, так, кулака... – Ренике задумчиво уставился в пол и, немного помолчав, добавил: – Изменник предаст снова, уголовник опять украдет. Возненавидев нас, они, может, сами в нас нож не всадят, а вот переметнуться, опять же за жирный кусок или из обиды, что они обмануты, побежать служить тому, кто всадит, – это обязательно. Нам бы не прозевать сей момент, когда он посетит чертово славянское отродье.

– Вы – незаурядный философ, Ренике! Но ведь для того и существует ваша служба, гауптштурмфюрер, чтобы не прозевать?

– Их не надо концентрировать. Прореживать самым беспощадным образом. И не делить это быдло на ублюдков и умников. Все они – скот! – Ренике с еще большей злостью ударил по спинке стула.

В дверь легонько постучали, и на пороге с подносом в руках возникла улыбающаяся Анна.

– Кофе и бутерброды, господа офицеры!

– Поставьте туда, – ткнул Ренике пальцем на кругляшок карточного столика. – Свободны, фройляйн!

Тут же стерев улыбку с лица, Анна выскочила за дверь.

– Вы суровы, Ренике, даже с прекрасными соотечественниками.

– Справки навели? – гестаповец тяжело посмотрел на представителя абвера.

– Ренике, дорогой, о чем вы? – Заукель рассмеялся: гауптштурмфюрер так старательно изображал из себя интеллектуала, что прокололся на элементарном. – Обыкновенная логика! Разве в администрации лагеря может работать славянка?

– Фольксдойч, но из местных, – автоматически вырвалось у гестаповца, только после этого сообразившего, насколько глупо он сдал свою связь. Во всех смыслах.

ГЛАВА 4. КРЮКОВ

«А если я все-таки сбился?» – первое, что ударило болью в голову, когда перед глазами снова возникли, как в размытом тумане, копошащиеся на снежном насте красногрудые птицы. Человек попытался сосредоточиться. «Почему я так спокоен... Нельзя мне сейчас этого... Нельзя... Голова...» Он снова приказал себе шевельнуться. Это удалось не с первой попытки. Но удалось: птицы с шумом вспорхнули, пропав из поля зрения. Удалось приподнять голову: вертикальная белая поверхность медленно повернулась – к своему горизонтальному естеству. И снова человек обратился в слух – до последней клеточки. Нет, вокруг по-прежнему разливалась тишина, только где-то рядом гомонили птицы. «Ольха! Поле... Был ручей...»

Человек закрыл слезящиеся глаза и вновь попытался сосредоточиться. «Ручей... Это было утром... Конечно, утром... Сутки на снегу не выдержать... Значит, сегодня утром, а сейчас...» Он с трудом разлепил опухшие веки, снова приподнял голову. Тень от ольхи на снегу вытянулась... Подсказывала, что время ушло от полудня и ушло заметно. «Значит, скоро накатятся сумерки, потом подступит ночь. И он останется с ней один на один. Значит, надо сейчас же вставать. И идти. К лесу. Тень от ольхи... Паутина серых полос на режущем глаза снегу... Она еще не показывает на запад... И не покажет – темнота проглотит ее быстрее... Но если пересечь поле до темноты, то можно успеть увидеть другие тени, много теней, четких и уверенных, более устремленных к западу, чем эта бледная паутина от ольхи. А утром был снег... И хлопья скрывали следы...»

Человек шевельнул рукой, трогая снежный наст. Твердый, гладкий... Значит, он ошибся – погоня была вчера. «Конечно, вчера... Или позавчера... Утренние хлопья снега так бы не слежались... Нет, не позавчера... Тогда вчера... Сутки – возможно... Больше он бы не смог... Замерз бы... Хотя нет, он шел... Вдоль ручья... Потом наступила... Да! Была уже ночь! Перестал идти снег, а он шел, часто останавливаясь... И слушал, слушал! Ти-ши-на... А вот потом настало утро... Продолжал идти... Куда? Шоссе! Лес вывел к шоссе. А оно... Так-так... Вспоминай, вспоминай!.. Да! Шоссе лишь в одном месте пересекает ненадолго лес, там надо понаблюдать за движением транспорта. Движение в сторону фронта более оживленное, и в основном это должны быть машины с солдатами, танки, артиллерия на тягачах, тяжело груженные грузовики под охраной... А в тыл – санитарные... В тыл движение должно быть меньше. И еще что-то... Самолеты – вот что! Они тоже ориентируются по шоссе. На восток гудят надрывно – брюхо у каждого набито бомбами, обратно звук тоньше – опорожнились, суки... Надо идти!.. Шоссе... Там он сделал все правильно... Там он пошел на запад, не показываясь на опушке и следя за солнцем, которое, казалось, стремительно катится по небу. Потом... Что потом?.. Хутор! Как же он забыл про хутор?!.. Значит, ручей был не вчера и даже не позавчера... Потому, что после ручья, после шоссе был хутор!...»

Федор Крюков в полицаи пошел добровольно. Это было в сорок втором, ровно год назад. Из собственноручно выкопанной в чащобе землянки его все-таки выкурили февральская стужа и голод. В землянке Крюков отсиживался месяца полтора, а до этого жировал на хуторе. Пригрела хозяйка, вдовая лесничиха, дородная баба на десяток лет старше Федора, круглолицая, рыжая, крепко сбита. На первый взгляд – туша неповоротливая, а на самом деле – ох, какая шустрая и сноровистая! И – страсть какая властная. Во всем.

Когда Крюков, оборванный и завшивевший дезертир, набрел по глубокой осени на этот хутор, Устинья – так, как потом выяснилось, звали вдову-лесничиху, – оценивающе вымерила глазом маячившую за подслеповатым стеклом оконца фигуру. Грозно вышла на крыльцо и

долго молча смотрела на Федора, который, переминаясь с ноги на ногу под мелко-мелко моросящим дождем, вновь и вновь плаксиво просил, почему-то часто кланяясь, хлеба или картошки. Наконец властно оборвала все это нытье:

– Заработай!

Федор рванул грязную и засаленную, сочащуюся холодной влагой пилотку с плешивой головы – все они, Крюковы, такими уродились: с молодости жидкие волосенки вываливаются пригоршнями.

– Дай вам Бог здоровья, хозяйюшка! Заранее благодарствую! Чем могу...

– Во-во... Стайку видишь? – Баба на крыльце дернула подбородком влево. – Как вылижешь там всё – тогда и о жратве разговор поведем! Ходят тут, долбят в окна... дятлы, ети вас... И смотри, не балуй с вилами, сыть дезертирова! У меня таких картечь в ружьи стережет! Тумкаешь, ага?

– Не извольте сумлеваться, хозяйюшка! – снова мелко задергал шеей Федор. – Како тако баловство! Вы с душой, и мы к вам – с полным старанием!

– С душой... Иди давай, отродье бесовское, и про картечь помни!

Федор нахлобучил чавкнувшую о плешь пилотку и поплелся к добротному сарайчику, в котором было темно, но сухо и тепло. Разыскал в сумраке вилы с гладко отполированным руками черенком, яростно поддел с земляного пола унавоженную солому. Скотины в стайке не было, видимо, где-то или на свободном выпасе погуливала, или пас ее у лесничихи кто-то.

Так и провозился до сумерек, на дрожащих от слабости ногах, лишь утирал градом катившийся пот своей многострадальной пилоткой, с которой когда еще предусмотрительно скосвырнул и затоптал в хвою пятиконечную звездочку. А когда? А сразу же после того, как присел за кустами, отстав, вроде как по нужде, от растянувшихся по тропинке остатков роты.

Для роты и, соответственно, Федора, на тот момент шестые сутки минули после первого и единственного боя, быстро закончившегося суматошным бегством в лес из наспех вырытых окопчиков на гречишном поле, – от немецких танков и дюжины минометных залпов вдогонку, разметающих замешкавшихся на лесной опушке бойцов. А в лесной чаще минувшие шесть суток прошли в судорожных попытках догнать откатывающуюся на восток линию фронта.

Шли ночами, обходя дороги и деревни, чтобы не напороться на немцев. Воевать с ними было нечем. Патронов не набиралось и по обойме на брата. Шли медленно: утром третьего дня комроты лейтенант Дремин самолично делил последние сухари с налипшей к ним махорочной крошкой.

От истощения и усталости люди валились с ног. Не лучше ощущал себя и Федор. Но к голоду, недосыпу и растерянности от всего навалившегося у Крюкова примешивалась и нарастала волна липучего страха. А еще и меж лопатками припекло, когда Крюков брал из рук лейтенанта свою половинку сухаря: Федору в эту минуту казалось, что вещмешок у него за плечами стал прозрачным, и сейчас все увидят лежащие в нем полбуханки зачерствевшего хлеба, четыре больших куска сахара-рафинада и непочатую пачку махорки...

Рафинада было поначалу семь кусков. Их Федор выменял у балагура и весельчака Тимки за финский нож. Двухметровый Тимка, с широкоскулого смуглого лица которого не сходила улыбка, добродушный парень из далекого – где-то за Байкал-озером! – села Улеты, забайкальский гуран, как он сам себя называл, прицепился баннным листом, увидев у Крюкова финку:

– Братка, ну и зачем тебе это изделие? Махнем?! Дюже бравая штука – на зверя ходить! В тайге, паря, всяко бывает. Супротив кабана или мишки иной раз с одной берданой и не устоять, а это ж како подспорье!

– И чо жа ты за такой охотник, ежели без ножа?

– Но... Припасен в зимовье! Но тот особливый – зверя свежевать, лезвие лопатой! – Тимка вытянул вперед огромную ладонь – вот уж точно лопатица штыковая! – А энтот – бравая вещь!

Он вывернул на дно свежееотрытого окопчика все содержимое своего вещмешка, бережно развернул перед глазами Крюкова чистую полотняную тряпочку: семь больших голубовато-серых кусков литого сахара. И Федор долго не раздумывал. Освободившись от финки, даже облегчение почувствовал: нож был пришлый, припаянный кровью.

Крюков его тоже у охотника взял. И документы – справку лесхозную – тогда забрал, и золотой самородок в кожаном мешочке, что у того мужика на поясе висел, и берданку с патронами, и еще кое-какое барахлишко.

Крюков убил того охотника. К таежнику сразу с черными мыслями прилип: документы новые нужны были. Но полторы недели терпеливо таскался с ним по увалам и распадкам, вечерами в зимовье долгие разговоры о житье-бытье разговаривал – все, что сумел, у человека о его прошлой жизни выпытал. А потом, в зимовье прямо, из его же берданы... Задумка верная была: война загремела, тут милицейским не до таежных тайн пока. Да и труп закопал – зверю не разрыть.

Под новым именем в новом месте Крюков хотел начать новую жизнь. Надо было напрямки в эту новую жизнь из того зимовья и уходить. Но жадность и скупердяйство подвели. Сунулся все-таки обратно в поселок, где у бабки Аграфены угол снимал: вещички свои собрать – не бросать же добро. А в райвоенкомате война порядок не нарушила: повестка Федора уже дожидалась. Пришлось промаслить и зарыть берданку и остальную страшную добычу за поскоотиной. До лучших времен. Нож с собой взял, поначалу даже сунул в сапог по старой привычке.

А жил Федор Крюков у бабки Аграфены, как ссыльно-поселенец, отбыв большую часть назначенного судом срока – за покушение на секретаря сельсовета – в лагере. Впаяли ему десятку за это покушение по печально известной 58-й статье, как кулацкому отродью. В общем, за политического канал, врагом трудового народа. Хотя чего уж там... Нет, хозяйство у Крюкова-старшего было справным, но батраков не нанимали, сами горбатились.

Черт его знает, мож, и не стали бы раскулачивать – до того черного дня пронесило, в селе старшего Крюкова, да и все его семейство никто к кулачью не относил. Но дернул Федора леший глаз положить на сельсоветскую секретаршу Нинку. Девка справная, всё при ней. Федор приударить хотел за Нинкой, а она сразу отшила: мол, куда тебе, плешивый!

Вот тогда кровь-то и взыграла! Раскровянил одним ударом сучке сопатку, поволок в сенник. Чево думал... Уж прошли те времена, кады вот так вот девкой овладеешь, а после и тебе, и ей хода никуда нет – только пирком да за свадебку. А тут и до трусов-то дело не дошло, только ляжки и полапал. Налетели парни с мужиками, исхлестали вусмерть, а после уполномоченный из района прикатил: ага, дескать, покушение на должностное лицо при исполнении. Каво?! Како тако исполнение после вечерки в деревенском клубе? Но теперь уже уполномоченный Федора по сопатке: молчать, тварь кулацкая!

И завертелась механизма!.. Федора в суд, а остальным Крюковым – постановление под нос: нате-ка, мироеды, пролетарский привет! В двадцать четыре часа собратиться, что на подводу при одной лошади войдет – взять разрешается и – геть! Не куды глаза глядят – а на специальный сборный пункт, для отправки с остальным кулацким элементом по месту назначения.

Федора, понятно, к тому времени уже упрятали в кутузку, а после скорого суда – в теплушку арестантскую и – за три тыщи верст утартали.

Поселение ему вышло на восьмом годе, когда лагерный люд под амнистию после «ежовых рукавиц» попал. Первый и последний раз тогда Федору такой фартовый крупняк выпал. Блатюкам и прочей уголовной шпане по тем послаблениям и амнистиям кукиш с хреном показали, мол, чума вы и есть чума для народа, а политическим послабление вышло заметное: дескать, прошли времена ежовского беззакония, справедливость восторжествовала. Лаврентий Палыч, верный сталинец товарищ Берия – новый наркомвнудел, всё, что его предшественник, в высокое кресло, вражина, пробравшийся, наворотил, внимательно стал разгребать.

И Федору помягчение вышло. Так, мол, и так, в решении написали, по 58-й статье, за секретаря сельсовета, срок отбыл, а за кулацкий душок оставшуюся пару лагерных годков смягчаем: пятериком поселения.

Вот и турнули из оренбургских степей в красноярскую тайгу. И валил бы ссыльнопоселенец Федор Крюков могучие сосны да лиственницы под зачет оставшегося срока, да только, когда загромыхало на западе, вскорости слушок пополз, что под повестку и поселенцы пойдут. Вроде как по добровольности. Или на фронт с чистым билетом, или в лагерь – с волчьим.

Прикинул Федор такой расклад – эва! И размусоливать не стал. Дорога до передовой долгая, а в дороге всякое случается. Уж там-то точно неразберихи хватает – одному человечку затеряться... Особливо ежели документы незамаренные. Простенькая справочка без такого прошлого, как у Федора, любую самую чистую ксиву добровольного бойца перевесит. Хотя на безрыбье и последняя сойдет.

В общем, Федор о своей добровольности заяву накатал, а тут как раз того мужичка-таежника-то и заприметил. Вот и прогулялись на охоту, пока всякие призывные дела шель-шевели разворачивались. Была, конечно, мыслишка, что там, на западе, с Гитлером все по-быстрому закончится, накостыляют этому петушатнику, и до него, Федора Крюкова, дело не дойдет. Пока сборный пункт, курс молодого бойца, то, се...

Убив таежника и завладев новыми документами, Федор и вовсе раздумал в обмотки и гимнастерку обрядиться. И вот, поди ж ты! Ждала уже подруженька-повесточка! Что ж, вернулся Крюков к первоначальной задумке. Новый документик вместе с берданой и шмутьем прикопал, а вот самородок в кожаном мешочке оставить духу не хватило. Приспособил под исподнее, облепив золотой камушек местной глиной: землицы-де, родимой, щепоть – утешенье и оберег служивому...

Застучал на стыках эшелон, и осталось всё позади. В том числе и страшная тайна зимовья. Только золотой камушек у сердца да финка в сапожном голенище. Да, уж повезло – справно придели по зимней форме одежды: шинеля, добротные сапоги яловые. И разговоры в теплушках тока про то и были, что поначалу еще месяцев шесть учить будут на бойцов, в резерве стоять их части предназначено.

Куды с добром! В самое громыхалово притартали, высадили ночью на каком-то полустанке, потом до утра пешедралом гнали прямиком на сполохи и канонаду. Утром горячей кашей накормили в жидком лесочке, потом занятия были. Усталый старшина разобрал и собрал винтовку, часок покумекали над устройством затвора и устранением перекоса патрона, потом строго по три патрона каждый выпустил в ростовую мишень, несколько раз сбегали в атаку, с остервенением всаживая на условном вражеском рубеже трехгранные штыки в рогожные кули с соломой. И был гуляш на обед, и был суп с перловкой, а после обеда раздали паек: по кирпичу хлеба, паре увесистых банок с тушенкой, по четыре брикета горохового концентрата, по два фунта черных квадратных ржанных сухарей, по полфунта кускового сахара и по три пачки махорки. Выдали алюминиевые котелок с крышкой, ложку и фляжку, которую тут же приказали наполнить водой из питьевой бочки. Напоследок каждый расписался за винтовку, подсумок с пятью обоймами тускло блеснувших патронов, малую саперную лопатку и каску. Шинели приказали туго скатать по образцу и надеть через плечо, а продовольствие сложить в вещмешки.

Потом пришли немолодой политрук в очках и такой же немолодой военфельдшер. Первый раздал всем черные тюбики и приказал заполнить по длинной узкой бумажке: фамилия, имя, отчество, когда родился, откуда родом... Бумажку требовалось свернуть в трубочку и засунуть в черный тюбик, крышечку у него туго закрутить и – в карман гимнастерки. Строго-настрога наказал, чтобы всегда при каждом этот тюбик был. Федору слово это чудное запало: «тюбик»! Раньше и не слышал такого. Ученые они, эти политруки! А кто-то из бойцов пробурчал, что лучше вообще этой чертовой вещицы не иметь. Мол, дурная примета. Медальон

смерти... Только тут до Федора и дошло назначение «тюбика». Эва оно как! Тогда первый раз и затрясло.

А военфельдшер раздал всем по небольшому свертку с ватой и бинтом. Индивидуальный перевязочный пакет называется. И немногословно добавил: «Царапнет – не маленькие, разберетесь, как самому себя или друг дружку перевязать...»

Ближе к вечеру снова накормили кашей, в которой попадались волокна тушенки, напоили сладким жидкозаваренным чаем. Кое-кто принялся распечатывать выданный продпак, но прилетел черноусый и злой старшина, орал и грозил трибуналом.

Потом на полуторке приехали командиры-офицеры. Объявили построение, разбили на роты и взвода. Злой черноусый старшина оказался для Федора и еще трех десятков бойцов их комвзвода Фирсовым, а коренастый, русоволосый, немногословный молодой парень с двумя кубиками в петлицах – их командиром роты лейтенантом Дреминым.

Комвзвода выдал каждому по красноармейской книжке и дал команду разойтись, перекурить. После перекура всех построили заново. Тут Федор в первый и последний раз увидел командира батальона, капитана Ермоленко. В подступающих сумерках хором приняли присягу на верность трудовому народу, расписались в разграфленном листе. После сыграли отбой. Спали вповалку, на душистом сене под навесами из жердей, покрытых кусками новенького брезента.

Федор долго не мог уснуть, вслушиваясь в далекие орудийные раскаты и отблески нервных зарниц на низких облаках, теснящихся на западе. А когда забылся в тревожном сне, показалось, что продлился он всего пару минут. Было темно.

– Подъем! Подъем! Стройся! Поживее, мать вашу!

В лагере царило нехорошее оживление. Казалось, им пронизан весь воздух. Строили поротно.

– Товарищи бойцы! Противник прорвал наши укрепления превосходящими силами. Нам приказано выдвинуться...

В общем, обновили сапоги. В зыбком и зябком утреннем тумане песчаная лесная дорога вывела на опушку, а потом на гречишное поле. Прозвучавшая команда «Стой! Окопаться!» многим показалась музыкой: ноги во время ночного марша снесли в кровь. Командиры взводов разметили позиции, схватились за лопатки и сами, одновременно подторапливая бойцов. Но многие прежде с облегчением сдернули сапоги, разложили по траве и гречихе портянки.

– Вы чего творите, чурбаны стоеросовые?! Обуться, приступить к оборудованию одиночных окопов для стрельбы лежа! – орал уже изрядно перемазанный землей старшина Фирсов и размахивал лопаткой. – Дурьи бошки свои прячьте и задницы, а не на копыта дуйте!

Туман поднялся через час-полтора. Взвод продолжал долбить кусок гречишного поля и лесную опушку, углубляя окопчики до глубины, предусмотренной, со слов лейтенанта Дремина, наставлением по саперному делу для стрельбы с колена.

– Глянь, мужики! Ероплан-то какой диковинный! – восторженно заорал кто-то слева. Все побросали работу и жадно зашарили глазами по небу. Нашел диковину и Федор.

Черная, с раздвоенным хвостом, воздушная машина высоко и оттого, наверное, казалось, медленно, проползла на северо-восток, потом вернулась обратно, сделала ленивый круг над головами и так же неторопливо удалилась на запад, еле слышно рокоча моторами.

– Это чо такое было? Сроду такого самолета не видывал! А ты? – удивленно спросил Федор парня из соседней ячейки, как называл окопчики старшина Фирсов.

– Но, братка, тут и кумекать неча. Немчура на разведку прилетала!

– Да ты чо!

– Вот тебе и чо! Милка: «Чо?», а я: «Ни чо! Поцалую горячо!». Немчура!!

Парень оторвался от работы, вылез из окопчика и оказался двухметровым богатырем. Так и познакомился Федор с Тимкой. Тогда-то и узрел Тимоха у Федора финский нож, которым

тот вспорол банку с тушенкой, устав терпеть голодуху после ночного марша, перешедшего в срочные землеройные работы. И сменялись на сахар. До сладкого Федор всегда был большим любителем.

Тимку-забайкальца убило через час. Зазря, выходит, он свою ячейку чуть ли не до полного профиля углубил. В жизни вообще многое зазря делается.

Вначале где-то далеко послышалось ровное гудение. Оно нарастало, а потом превратилось в уже отчетливое тракторное тарахтение. Потом оно прервалось быстро нарастающим шелестящим звуком, перекрывающим далекие негромкие хлопки. Что-то истошно прокричал из своей ячейки Фирсов, но Федор не понял. Он приподнялся, глядя на старшину, и тут же соседний, Тимкин, окопчик с бешеным ревом вздыбился! Тугая, как транспортерная лента на элеваторе, обжигающая и едко воняющая какой-то химией волна ударила Федора в бок и вмяла в дно окопа, в одно мгновение с головой завалив землей!

...Когда Крюков пришел в сознание, он увидел перед собой грязное от земли и копоти лицо Фирсова, который шевелил губами и протягивал флягу. Федор попытался шевельнуться, но у него тут же каруселью закружилась голова, и все внутренности мгновенно вывернулись наружу горячей рвотой. Потом вроде бы стало полегче. Но голова раскалывалась, болело все тело. Оказалось, что он стоит на коленях на плешине непонятно зачем свежевспаханной и хорошо проторенной земли, ноздри как-то отстраненно уловили смолистый дух лесного костра... Но гул... Бездонный мощный гул, наполненный одновременно оглушающим свистом и бухающим в темя дурным колокольным звоном. Словно Федора затолкали внутрь огромного колокола, по которому непрерывно ударяет чудовищное било. Что же это за пытка?! За что?! Откуда?!

Крепко затыкая обеими руками уши, Федор попытался поднять глаза. Это у него получилось не сразу. Фирсова рядом уже не было. Никого рядом не было. С трудом переведя взгляд чуть дальше, Крюков увидел прежнее гречишное поле. Оно появлялось и исчезало в рваных просветах белесо-голубого дыма. Медленно поворачивая голову, Крюков захотел проследить, откуда так сильно тянет этот дым. Что же это горит такое? Наконец он увидел: горели сосны на опушке. «Вот он откуда, смоляной запах костра, – равнодушно подумалось Федору. – Но что так гудит и свистит?»

Он неимоверным усилием принялся поворачивать голову в другую сторону, даже, как ему казалось, помогая себе обеими руками, по-прежнему прижатыми к ушам. Взгляд медленно пополз влево, туда, где – Федор вспомнил! – был окопчик Тимки. Но там не было никакого окопчика, только аккуратная круглая яма с таким же аккуратным бортиком-венчиком по всей окружности.

Вдруг из этой ямы высунулся старшина Фирсов и что-то зло прокричал Федору, одной рукой, с зажатой в ней винтовкой, тыча вперед, а другой резко взмахивая – сверху вниз, сверху вниз. Крюков так и не понял, что означает этот жест, но вперед посмотреть попытался. И – одеревенел! Даже боль в голове, показалось, исчезла.

Прямо на них медленно ползло пятнистое невиданное чудище. Вот оно приостановилось, неторопливо повело чуть в сторону длинной и тонкой трубой с набалдашником на конце, – и вдруг из этого набалдашника изрыгнулась ослепительная вспышка пламени и дыма. Танк! Так это и есть танк! Федор впервые увидел страшную боевую машину. Невероятный ужас охватил Крюкова. Бог ты мой, да как же устоять-то перед таким чудищем!

Федор машинально опустил руки, загребая руками землю вокруг себя. Совершенно ничего не соображая, вцепился во что-то, опрокидываясь на спину, по-кошачьи перевернулся на бок, вскочил на ноги и – откуда взялись силы! – что есть мочи ринулся в спасительные кусты на лесной опушке, не обращая внимания на ревущий вокруг огонь набирающего мощь лесного пожара.

...Ему показалось, что бежал он долго и убежал от места страшной встречи довольно далеко. Как потом выяснилось, всего-то метров триста ломился лесом через кусты. С истлелым ветками лицом, с безумно горящими глазами, с текущей из ушей кровью: разорвавшийся рядом снаряд, накрывший Тимку – забайкальского гурана, сильно контузил Крюкова. И не сам остановился посреди лесных зарослей. Остановил небольшой овражек, на дне которого сверкал неторопливый ручеек, полуприкрытый уже начавшими желтеть листьями лопуха. Федор с разбега, потеряв опору под ногами, кубарем полетел вниз, в холодную воду.

Вскоре в овражке оказались еще несколько бойцов, а потом появились чумазные лейтенант Дремин и старшина Фирсов, как ребенка баюкающий кое-как замотанную бинтами правую руку.

Слух к Федору начнет возвращаться только к концу вторых суток. Тогда-то он и узнает подробности своего первого и последнего боя: о танковой атаке, о бестолковой перестрелке с немецкой пехотой и минометном залпе, разметавшем остатки ротной обороны. Загоревшийся лес, быстрая победа над оборонявшимися, – а может, еще какие-то свои причины были у немцев, но преследовать беглецов они не стали. Послав несколько веерных пулеметных очередей в глубину леса, через пламя и дым, посадили пехоту на танки и в гробообразные полугусеничные бронетранспортеры и, собравшись в походную колонну, проселочной дорогой вдоль опушки резво подались к шоссе.

Лейтенант Дремин в опустившихся сумерках с группой бойцов сделают-таки ходку к месту боя, отыщут несколько винтовок и подсумков с патронами, пару вещмешков с продуктами. А Федор-то, оказывается, ухватил намертво, загребая руками землю при виде немецкого танка, лямку собственного вещмешка! Правда, из всего пайкового обилия харчей в нем после суматошного бегства, а может, еще раньше, при разрыве снаряда, продуктишек уцелело с гулькин нос.

Этот жалкий запасец и жег Крюкову спину, когда лейтенант делил последние сухари. И за кустом на шестые сутки окружения присел Федор не по нужде, а схрумать сахару кусок. Вспомнился тут же Тимка-забайкалец...

И дозрела у Федора мысль, возникшая, как теперь ему казалось, давным-давно, в какой-то иной, совершенно другой жизни. До полного отчаяния, до животного крика захотелось жить, досыта есть и пить, спать в мягкой теплой постели. Жить, жить, жить!!! Какой же он маленький на этой огромной земле, среди этого хаоса смерти, огня, войны! И зачем она ему, война? Чтобы вот так же, как это случилось с Тимкой, разнести в клочья и его, Федора, его исстрадавшееся по отдыху, сну, теплу и жратве тело? Не-е-ет... Нет! Нет!! И нет!!! Он и в самом деле маленький и незаметный на этой огромной земле. Он спрячется, он тихо и терпеливо подождет. До лучших времен. Он терпелив.

Крюков стянул с головы грязную, пропотевшую пилотку. Новенькая, бравая была. Перед боем, надев каску, сунул пилотку в вещмешок – потому и уцелела. А каску то ли сразу же тогда, взрывной волной, сорвало, а может, и после, когда его Фирсов откапывал, с головы она свалилась, ремешок-то Федор не застегивал. За шесть суток блуждания по лесу пилотка свой шик потеряла, а вот звездочка эмалевая – как новенькая.

Крюков, обдирая кончики пальцев, зло выдрал звездочку из ткани, вдавил сапогом в хвою. Шабаш, повоевали!

ГЛАВА 5. КРЮКОВ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

«Хутор... Да...» Теперь он вспомнил. От шоссе подался к западу, скрываясь за кустами и густым ельником, но дорогу слушал, стараясь далеко от нее не удаляться. День шел на убыль, нарастала тревога: в заснеженном лесу встречать ночь, в заледенелой одежде, которая не сохла даже на пышущем жаром теле...

Человек с тоской подумал, что ручей, оказавшийся столь спасительным от собак, наверное, подписал-таки ему смертный приговор. Тряс озноб, из хрипящей груди то и дело рвался выворачивающий, надсадный кашель, который приходилось вбивать обратно, зажимая полопавшиеся и сочащиеся сукровицей губы рукавом: кашель казался человеку оглушительным, многократным эхом, гулко разлетающимся по тихому лесу. Его могут услышать на шоссе. Если не люди, так собаки, их чуткие натренированные уши. И человек продолжал брести меж кустами, прикрываясь ельником, проваливаясь по колено в снег, то и дело останавливаясь и вслушиваясь, вслушиваясь в лесную тишину...

Он замирал, падая на колени, если в эту тишину вдруг вплетался звук автомобильных моторов на шоссе. И снова, тяжело подымаясь, брел по глубокому снегу, выискивая глазами путь potvrде...

Тихий снегопад незаметно прекратился, небо меж верхушек деревьев разъяснилось, косые тени от деревьев, удлиняясь, все больше и больше разворачивали свои острия навстречу...

Человек вновь и вновь мысленно пытался проследить свой путь от ручья. Разламывающая голову боль мешала этому. И все-таки по всему выходило, что где-то впереди, неподалеку, должна лежать нужная деревенька. А в ней...

В ней требовалось отыскать второй от околицы дом на восточной оконечности единственной деревенской улочки. Найти, но не торопиться. Оглядеться, дожидаться темноты и, не привлекая внимания, задом пробраться к оконцу, выходящему в огород. В стеколку четыре раза сдвоенными ударами постучаться. Выглянет женщина, лет пятидесяти. Ей надо сказать... Черт, как же разламывается голова... Что же ей надо сказать?.. Так... по порядку... А сказать ей надо: «Хозяюшка, будь ласка, приюти до утра пацана. Околел, как цуцик, Васька Мятликов...» Именно так сказать, не иначе... Смеялись еще, придумывая условные слова. В русле этой, как ее... легенды. Да, легенды...

Машинный шум на шоссе стих окончательно. Хорошо. Так и должно было быть. В ночное время немцы движение прекращали, забираясь в опорные пункты. Ночью они не вояки...

Неожиданно путь пересекла лесная дорога, уводящая укатанный санный след от шоссе в глубь леса. Человек обрадовался. Дорога могла свидетельствовать только об одном: человеческое жилье неподалеку. Наверное, та самая деревенька. А этой дорогой местные, скорее всего, в лес ездят – за дровами, а летом по грибы и другим надобностям, мало ли зачем...

Человек вышел на дорогу, внимательно рассматривая санную колею. Кто-то уже проезжал здесь после снегопада. Снова подступил приступ рвущего горло и грудь огнем кашля. Человек согнулся, прижимая ко рту грязный рукав ватника, затрясся всем телом. Молотом било в виски, в унисон непрекращающимся накатам кашля...

Наверное, поэтому человек не услышал, не почувствовал, не увидел, – где-то внутри, к тому же успокоенный наступившим на шоссе затишьем, – как из-за поворота лесной дороги к нему вплотную подкатили легкие одноконные сани, с них резво метнулась черная фигура. Молот в очередной раз ударил уже не в виски, а словно расколол голову на две половинки...

...Негромко затрещали сучья. Крюков, распластываясь на хвое, ужом занырнул под низкие и густые, разлапистые ветки исчерна-изумрудной пихты-громады, слился с обомшелым стволом.

– Федор! Федо-ор! – его негромко позвали. – Федор, Крю-ков!.. Куда подевался?.. Надо идти, Фе-о-дор!..

Митяй. Дремин Митяя послал. Он у лейтенанта заместо ординарца... Крюков судорожно сглотил сладкую слюну, машинально обшаривая десны в поисках сахарных крупиц чуть саднящим языком. Торопился с сахарным куском разделаться, ободрал язык и нёбо слегка...

– Фе-о-дор, мать твою! Ты где?! Чево воды в рот набрал? Федька!..

Митяй совсем рядом прошел. Еще пару раз окликнул, подался обратно. Только тут Крюков с облегчением перевел дыхание. Но от горько пахнувшего пихтового ствола не отлипал. Слушал.

Его позвали-окликнули еще пару раз справа, потом поодаль слева. Потом кто-то довольно громко выругался, и голоса стали удаляться. Но затаившийся Федор еще долго прислушивался к каждому звуку и шороху...

Потом долго по лесу петли вил, стараясь как можно дальше уйти от товарищей. Да и какие они ему товарищи! На что надеются? Куда идут?! Линию фронта догнать... Дурни! Догонишь ее теперича... Вона, как немец-то их... Бабахнул из танков, минами накрыл и – дальше попер!..

Присев отдышаться, Крюков, не чувствуя вкуса, лишь ощущая, как тяжестью наполняется желудок, размолот крепкими желтоватыми зубами черствую, тронутую легким налетом плесени полубуханку. Хотелось пить, нестерпимо. Зашарил глазами вокруг, поднялся на ноги. Побрел по еле заметной тропке, и вскоре подвернулась в рыжей глиняной ямке лужа. Опустился на четвереньки, жадно принялся лакать...

Через пару суток прикончил последний кусок сахара, жевал редкую бруснику, еще какую-то ягоду. Расползающихся от сырости грибов поостерегся.

Когда на целый день зарядил мелкий, быстро пропитавший всю одежду до последней нитки дождь, Крюков почувствовал, что его охватывает, становясь непреодолимым, отчаяние. Отчаяние и пронзительная жалость к самому себе. Он брел и брел по лесной тропе, она становилась то явственней, то снова еле заметно вилась меж кустов и замшелых стволов осин. Крюкова в который раз уже бросало на очередной осклизлый осиновый ствол. Каждая клеточка измученного тела вопила от безысходности: еще немного – и в Федоре окончательно дозрело бы заполняющее всё естество желание вырвать из волглых брючин тонкий брезентовый ремень, накинуть его на шею и потуже затянуть свободный конец на ближайшей кривой и мокрой палке иудиного дерева.

Но внезапно заросли расступились, тропка подалась чуть вверх, и впереди замаячила темно-серая крыша. Хутор! Крюков вяло и безразлично пережевал на опухшем языке давно приготовленные им для немцев слова о сдаче в плен, медленно запереставлял опухшие коготки ног в долгожданному жилью. Для немцев речь приготовил, а тут – баба! С крыльца-то рывкнула, а баньку, пока он навоз чистил, приготовила...

За столом у лесничихи Федор сидел разомлевший от мытья, в чистой рубаше. Хозяйка дала. И накормила от пуза. Постелила ему в горнице, на полу, молча задула лампу, молча, пошуршав одеждой и занавесью, забралась на печь. Отяжелевший от незамысловатой, но обильной еды Федор, блаженно кряхтя, укатился под лоскутное одеяло. Заснул сразу. А под утро поначалу задохнулся в испуге от навалившегося горячей тяжестью большого и мягкого тела. Устинья оказалась охоча до мужской ласки столь же властно, как и на крыльце прикрикнула. За каждую проглоченную Федором картофелину, ломоть ржаного подового хлеба и кусок

прошлогодного сала, шаря крепкими руками, сжимая могучими бедрами и впиваясь жадными губами, отдачи потребовала.

И не стало для Федора Крюкова войны на белом свете. На целых три недели. Свыкся было уже – ан нет!

В то утро в аккурат прилачился за банькой дровец наколоть, нарастить и без того изрядную поленницу. Стрекот мотоциклета издаля услышал.

В момент сиганул с колуном в руках в ельничек, языком подступающий к баньке от леса, заховался в колючей непролазной гуще. Но это – со стороны, а Федору щелка нашлась – застриг глазом.

Выкатился к загороди серо-бурый мотоциклет с люлькой, остро пахнуло отработанными бензиновыми газами. На люльке впереди штырь, а на нем – пулемет тупорылый. И три здоровенных лба на мотоциклете. При всей амуниции, с диковинными стальными, которые, как еще в роте мужики рассказывали, очередями бьющими, антоматами поперек груди. В касках тоже нерусских, в дождевиках и сапогах, добротных, но кургузых, непривычного глазу болотного цвета.

Один из немчуров сразу в курятник подался, ухватив с палисадника у крыльца большое решето, а другой – в стайку, где повизгивал поросенок. Вот там и протрещала коротко экономная очередь. И одновременно дверца стайки распахнулась и из дома дверь. Немец застреленного поросенка за ногу вытягивает, а на крыльце выросла могучая Устинья.

Тут и третий, долговязый, сигареткой у мотоциклета до этого попыхивающий, осклабил, залопотал чего-то, залопотал, разухмылялся, скотина иноземная, и – к Устинье! Тот, видать, еще ходок: подскочил к лесничихе, лапнул обеими руками за тяжелые груди. Вот тут-то она долго и не думала. Влепила ему промеж глаз – немец так и прокинулся! А другой-то пороса бросил да от пояса из своего диковинного антомата-то по Устинье и резанул!

Все произошло столь быстро и неожиданно для Крюкова, что даже обмочился он малость, с кукорок на задницу бухнувшись в своем еловом укрытии. Тяжеленным обухом колуна по ноге съездило – не почувствовал! Обмер, как кондратием разбило!

И не видел, как очухался долговязый, как выскочил с решетом, полным яиц, из курятника последний из троицы немчуров. Только и слышал, трясаясь от ужаса, как непрошенные гости, гремя и швыряя всем подряд, перетрясли всё в доме. Потом снова затарахтел мотоциклет, и немцы укатили.

Федор еще долго сидел в ельнике. После, опасливо озираясь, выполз на карачках оттуда, боком-боком обошел убитую, сноровисто набил в мешок разбросанные в избе по полу караваи хлеба, нагреб в подполе картошки, нашел за печкой соль в тряпице. Озираясь и прислушиваясь, выскользнул из избы во двор, подался уже было к лесу, но, вспомнив, вернулся, подошел к лесничихе. Стараясь не глядеть в лицо и на залитую кровью грудь Устиньи, задрал цветастую оборчатую верхнюю юбку и, путаясь трясущимися руками в подоле нижней, отыскал на ней карман с двумя коробками спичек. Один был полон, в другом громыхало всего несколько штучек. Крюков досадливо покачал головой...

От хутора он отошел в глубину леса версты на полторы. Облюбовал укромный уголок подле ручья на взлобке, меж двух давным-давно рухнувших могучих сосен. Лопату с собой тоже ведь захватил.

И принялся углублять, разрывать яму, оставшуюся на месте вывороченных корней одного из повалившихся деревьев. Так и обустроил себе полуземлянку, провозившись весь день дотемна. Вспомнив свой небольшой таежный опыт, обустроил тайничок для продуктов, чтобы всякая мелкая живность не испортила припасы, наломал лапника. Уработавшись, спал первую ночь, как убитый. Утром разбудила резким криком какая-то птица, заставив вскочить в нервном перепуге. Но вокруг было покойно. Федор развел небольшой костерок под шатром разлапистой пихты, чтобы не выдать себя дымом, согрелся чаем, напек картошки.

Первую неделю он обратно на хутор не совался, хотя очень хотелось обратно – в немудреный уют лесничихиного дома, в тепло. Изба на хуторе казалась раем, особенно по сравнению с нынешним обиталищем. А потом прихваченный при бегстве харч иссяк – поневоле надо было навестить дом Устиньи. Да и лоскутное одеяло с тюфяком и подушкой не помешало бы, кое-что из посуды тоже. Единственный раз Федор вспомнил убитую лесничиху с тоской: за примачество кормила щедро. Перед глазами встала огромная чугунная сковорода со скворчащей салом яишней, толстые ломти хлеба, кринка с густым молоком.

Бог ты мой! Да как же он со страху запомнил-то! Куры, корова недоеная! Умная у лесничихи буренка: после утренней дойки Устинья отпускала ее на свободный выпас, та привычно бродила вокруг хутора до вечера, а потом послушно возвращалась домой.

Федор заткнул за сыромятный ремень, которым опоясывал добротный, хотя и несколько коротковатый кожаный кошмал, доставшийся «в наследство» от покойного лесника, острый плотницкий топорик – его тоже не забыл, убегая с хутора, – схватился было за черенок лопаты, но вспомнил, что на хуторе есть еще две, в стойке.

Страшил предстоящий поход на хутор, страшила, но все-таки была необходимой предстоящая процедура погребения трупа лесничихи. Но больше Федор был озабочен другим: как и где ему без помех разделать корову, как без потерь сохранить весь мясной продукт. Понятное дело, что по ночам уже морозец прихватывает, до полудня закраины на лужах не отходят, но для мяса это – тьфу. Засолить бы, да нечем – солцы в обрез, горсточка. Оставалось, как подумалось Федору, только одно: сварить все, что можно, а потом закоптить. Но вот как это проделать, чтобы себя-то не выдать дымом и обширным кухарничеством?

Тяжесть предстоящих хозяйственных хлопот Федора Крюкова на себя взяли другие. Опередили, волки позорные! Немецкая сволота или деревенские говнюки – хрен их знает! Те и другие, скорее всего, – кость им в глотку! От коровы во дворе осталось побуревшее огромное пятно, в котором валялись обрубки копыт и еще какие-то жалкие ошметья. Курей, понятно, тоже не было. Подполье в доме подчищено до последней гнилой бульбы. Голым-голо на полках в избе, никакого тюфяка и подушек на печи, занавесок на окнах, домотканой дорожки на полу в горнице. От кадушки с квашеной капустой и деревянной бадейки с солеными огурцами в сенках – только два круга на пыльных плахах затоптанного пола.

По выстуженной избе, с расхристанными настежь дверьми, гулял пронизывающий сквозняк, противно позванивая обломками стекла в ближнем к крыльцу оконце: одна из пуль, предназначенных строптивой лесничихе, угодила в стекло, а закончила полет, расколов маленькую, с ладонь, черную от времени иконку, висевшую подле двух образов в переднем углу горницы.

Образов тоже не было, а расщепленные половинки иконки валялись под лавкой. Крюков, кряхтя, поднял их, приложил к друг другу, потом сунул в карман.

Потерянно обошел весь хутор, заглянул в каждый угол. Окончательно убедился, что побывали здесь опосля и немцы, и местные. Коровенку, курей – это немчуры сгребли, а остальное барахло – вряд ли. С такой крестьянской основательностью только деревенские живоглоты все могут подчистить. Они!

Но зато и лесничиху закопали.

Крюков наконец-то увидел просто, но аккуратно прибранную могилу, обложенную у основания полосой серых гольшей. Холмик венчал небольшой, старательно вытесанный крест с прибитой к нему дощечкой, на которой было выцарапано: «Поволяева Устинья. XI-1941».

Федор несколько минут постоял у могилы, потом пошел в избу, оторвал висевший за косяком кухонного оконца на бечевочке огрызок карандаша, вернулся и нацарапал на дощечке под крестом число. Не целый же месяц убивал немец Устинью. Мгновения хватило прекратить жизнь в крепком женском теле.

Федору вдруг – ни к месту, но до того, что аж заныло в паху, – вспомнились жаркие ночные ласки лесничихи, ее ненасытность. Он вздрогнул, нашарил в кармане обломки черной иконки и, снова сложив их, вдавил в уже прихваченную морозом глину под могильным крестом.

И тут – как Господь наградил! – торкнуло в плешивую башку! Как запомнил-то?! В стайке, под слегами в углу – основательно, с утеплением на зиму, еще небось бывшим хозяином оборудованный гурт! С запасом брюквы для скотины!

Федор ринулся к сарайчику. Нетронутым оказался схрон с брюквой! Проглядели местные!

На этой самой брюкве, на редкой мелкой лесной живности, иногда попадавшейся в неумелые силки, расставленные Федором вокруг его лесного логова, протянул он до февраля. А там мочи уже не осталось совсем, и промерзший, завшивевший Федор Крюков припелся в деревню.

Сдался в немецкую комендатуру, заявив о готовности служить новому порядку. Подсыпали ему немцы, помолотила от души местная полицейская сволота, увезли после в городишко, в гестапо. Там тоже особо не церемонились, выхлестав несколько зубов на допросах, но после смилостивились: определили в ту же деревню на службу в местную полицей-команду. По первости под жестким доглядом старшего полицая Степана Михановского уборные чистить и в конюшне полицейской вкалывать – навоз грести.

Только через несколько месяцев получил Федор черный мундир, белую повязку полицая и тяжелую немецкую короткоствольную винтовку «манлихер». Так и стал Федор Крюков полицаем, а еще негласным осведомителем остбургского гестапо. Осенью сорок второго отличился: поймал двух блуждавших, как он когда-то, измученных красноармейцев. Вскорости повысили до старшего полицейского, после чего Крюков уверовал в прочность своего положения, а после осторожных расспросов новоприобретенных деревенских знакомых из числа некогда его же лупивших сослуживцев, положил окончательно глаз и на вожденный хутор убитой лесничихи. И принялся потихоньку наводить там порядок, время от времени, все чаще и чаще, наезжая туда в свободное от службы время.

Вот и в этот день, по скрипящему под полозьями свежему снежку довольный Крюков возвернулся в деревню на легких санках – предмете своей особой гордости. Денек на хуторе провел с пользой – закончил возиться с печью, пробную топку устроил – красота!

Но все три версты до выезда на шоссе округу прослушивал настороженно, винтовку под рукой держал с загнанным в патронник патроном. Еще бы! Начальник полицей-команды Михановский поутру собрал всех и свистящим шепотом, страшно вращая глазами, выдал установку на повышенную бдительность: из лагеря под Остбургом был побег, где-то в лесу шарахается вторые или третьи сутки один придурок. «Засекретились тоже, чертовы гансы! – матерился, еще больше принижая голос, начальник Степан. – Нет, чтобы сразу оповестить!» – «Да его уже волки сожрали! – лениво откликнулся кто-то. – Или замерз. Чай, не лето...» – «Молчать, уроды! – уже не сдерживаясь, проорал Михановский. – Ушки на макушке, зыркать по округе! Команда выдана искать со всей тщательностью! Сам шеф городского гестапо награду сулил, ежели кому подфартит! Оно как!» – «Видать, важну птицу прощелкали...» – «Цыц, пся крев! Рыскать!»

Ага, все прямо так и кинулись. Это в чистом поле да в спокойном лесе охоту устраивать – забава. А когда за каждым кустом партизан чудится... И еще бы только чудился... Деревенские полицайи себя более-менее вольготно чувствовали лишь по одной причине: небольшой, но до зубов вооруженный немецкий гарнизон обосновался в деревне. Почему-то выбрали ее немцы опорным пунктом, оборудовали в бывшем сельсовете комендатуру, в бывшем клубе – казарму на полуроту при двух бронетранспортерах.

А партизаны на шоссе пакостили. Нет-нет да и грохнут армейскую колонну, правда, самый ближний налет был верстах в двадцати от деревни, но чем черт не шутит. И все-таки лишний раз надо бы поостеречься, подумалось Крюкову, не частить с поездками на хутор.

С этими мыслями и выскочил из-за поворота – прямо на сотрясающегося в приступах кашля человека в заиндевелем замурзанном ватнике с прописанном хлоркой номером во всю спину. И всё как-то само собой получилось: скакнул из санок да и хватил недоумка прикладом по загривку. Так и бухнулся, падла, мордой в санную колею.

Федор обыскал жертву. Ничего. Никакого оружия. Вообще ничего. Доходяга. Сомнений не было – тот самый. Которого ищут. Важна птица!.. Молодой, однако, для важной птицы. Дохляк!

Крюков замер в раздумье. Упереть добычу в деревню в комендатуру? А как и в сам-деле ценный фрукт? Напыщенный обер-лейтенант из комендатуры обещанную награду, ежели Степка не соврал, и получит, а ему, Федору, кукиш под нос сунут. Что делать-то? А ежели так...

ГЛАВА 6. РЕНИКЕ

Пять стремительных белых фигур – новая напасть, взметнувшая снегириную стайку на вершину ольхи. Белые лыжники появились из-за густого ельника и, внезапно наткнувшись на глубокую борозду в снегу, резко свернули к вырвавшейся на белое поле ольхе. Трое настороженно присели у кромки кустов, потянув из-за спин обмотанные бинтами автоматы, а двое, еле слышно щелкнув предохранителями на оружии, скользнули к черной фигуре, распластавшейся на снегу у ольхи. Один из лыжников опустился на колено, осторожно тронул у лежавшего слипшиеся, скованные бурыми льдинками волосы, потом медленно перевернул человека на спину, подсунув под голову сдернутую с руки армейскую трехпалую рукавицу. Быстро расстегнул бурый ватник, на несколько мгновений прижал ладонь к телу, потом нащупал артерию на шее. Обернувшись, утвердительно кивнул напарнику.

Бережно перевернул не приходящего в сознание человека снова лицом вниз, вынул из-под маскомбинезона перевязочный пакет. Напарник поднял над головой руку, показывая два пальца. От кустов тут же отделились еще двое лыжников. Тоже из-под маскировочных комбинезонов они выхватили тесаки, быстрыми и точными движениями рубанули под корень по тонкой березке, потащили их к ольхе, на ходу зачищая гибкие стволы от веток. Перевязка не заняла и минуты. Неподвижную черную фигуру тонким и прочным шнуром, под плечи и за ноги примотали к импровизированным березовым полозьям, комли которых выступали над головой найденного человека подобием длинных ручек носилок, а тонкие, во множестве мелких веточек, концы березовых стволов упирались в снег ниже бурых войлочных бахил метра на полтора. Двое лыжников сдернули человека-санки с места и покатали вдоль опушки, по кромке поля, к чернеющему впереди лесу. Чуть поодаль, меж кустов и деревьев, впереди этой пары лыжников, со странной и непонятной для постороннего глаза поклажей, заскользил, переведя автомат на грудь третий из пятерки, а двое последних, приотстав, прикрыли товарищей сзади.

Собачий лай за окном взвился до остервенения. Гауптштурмфюрер Ренике недовольно поднялся из кресла.

– Какого черта?! Что за пустолайная тут у них свора! О, полковник, вы только гляньте на эту процессию! Венецианский карнавал!

Фон Заукель отставил кофейную чашку, выбрался из кресла и подошел к окну. Через апель-плац в направлении административного барака гордо вышагивали унтерштурмфюрер Мюнше и адъютант коменданта лагеря Бергер, следом за ними четверо заключенных тащили носилки, на которых лежал еще один заключенный. Рядом с носилками, размахивая зажатым в руке пистолетом, семенил шарфюрер Лемке в окружении шестерых солдат, к которым жались, замыкая процессию, Климов и Грачко.

Ренике с интересом развернулся к дверям, а полковник прошествовал за письменный стол и расположился в кресле коменданта. Вскоре в коридоре послышались торопливые шаги, и на пороге кабинета выросла фигура Мюнше.

– Разрешите, герр оберст?

– Ну что там у вас, Мюнше, не тяните резину? – нетерпеливо шагнул к нему Ренике.

– Докладываю, что господином Грачко опознан заключенный, который вас интересуется, герр оберст. Второй прибывший с вами... э... господин...

– Климов, – подсказал абверовец.

– Так точно, герр оберст! – довольно отчеканил Мюнше. – Он подтвердил...

– Какой пассаж! – засмеялся Ренике, оглушительно хлопнув в ладоши. – Как всё, к счастью, банально закончилось, господин полковник.

– Для вас – да, – ответил фон Заукель, тоже не скрывавший удовлетворения. – Однако, унтерштурмфюрер, что там с этим Барабиным? Почему носилки?

– Заключенный самостоятельно передвигаться не может. Крайняя степень упадка сил, развивающаяся гангрена обеих ног.

– Где его обнаружили?

– В санблоке. Как заключенного номер одиннадцать тысяч два ноля один...

– А ну-ка, давайте сюда, унтерштурмфюрер, господ Климова и Грачко! – распорядился Заукель.

Мюнше отступил на шаг назад, обратно в коридор, пропуская уже маячивших у него за спиной «каракулевого» и второго русского, чьи физиономии тоже расплывались довольными улыбками.

– Вы уверены, господа? – сурово спросил полковник, сверля их пристальным взглядом.

– Абсолютно, герр полковник! – чуть ли не хором пролаяли оба.

– Точно! Он это, он, товарищ чекист с самой Лубянки! – еще шире расплылся Климов. – Виноват, что не сразу признал. Потрепала лагерная жизнь товарища чекиста! Но ничего, полезно... На собственной шкуре, сволочь краснопузая, прочувствовал, каково тем, кого они пачками на Колыму...

– Прекратите ваш словесный понос, Климов! – оборвал полковник и перевел глаза на Грачко. – Точно он?

– Без сомнения, господин полковник, – кивнул представитель разведшколы. – Наш потерявшийся курсант, проходивший под фамилией...

– Хорошо, Грачко! Вы будете отмечены! – Фон Заукель резко поднялся из-за стола. – Унтерштурмфюрер Мюнше!

Исполняющий обязанности коменданта лагеря тут же снова заполнил дверной проем.

– Что говорит врач? Транспортабелен?

– Так точно!

– Мюнше, ваш эскулап дает гарантию, что русский не сдохнет по дороге в столицу рейха? – дотошно уточнил Ренике, чтобы тоже как-то продемонстрировать серьезность своего подхода к ситуации. Он уже пожалел, что уронил ни к месту свои опереточные возгласы про карнавал и пассаж. Легкомысленно как-то прозвучали для шефа гестапо.

– Гарантию даже Господь Бог не дает! – отрезал Заукель. – Готовьте машину и организуйте дополнительное сопровождение, унтерштурмфюрер. Врач поедет с нами, пусть соберет все необходимое. Ренике, попрошу немедленно связаться с госпиталем в Остбурге. Мы поедем напрямик в госпиталь, а оттуда – на аэродром. Следовательно, сообщите и господам из люфтваффе о полной готовности.

Ренике тут же закрутил индукторную ручку телефонного аппарата. А фон Заукель с помощью мгновенно подскочившего к нему Грачко облачился в свою роскошную шинель и повернул узкое породистое лицо к Климову:

– Пойдемте, господа, глянем на этого хитреца.

Жестом остановил собравшегося его сопровождать Мюнше.

– А вы, унтерштурмфюрер, поройтесь в картотеке, кто из ваших подопечных столь благородно сменялся своим тряпьем с чекистом? Ну что вы, как идиот, таращите глаза? При ваших учетах, я совершенно не уверен, что по местным лесам бегают именно тот, чьи лохмотья сейчас напялены на чекиста... Бардак, совершеннейший бардак, а не лагерь, унтерштурмфюрер!

– Будет проведено самое тщательное расследование всех обстоятельств побега, – зловеще проговорил Ренике, оторвавшись от телефонной трубки и ненавидяще поглядел на Мюнше.

Заукель и оба русских вышли.

Унтерштурмфюрер принялся перебирать учетные карточки заключенных.

– Бросьте маяться ерундой, Мюнше! – засмеялся, закончив сыпать распоряжения в телефон, Ренике. – Вы же сами докладывали, что сразу же, как случился побег, провели проверку заключенных путем сличения лагерных номеров. И какого у вас номера не хватает? Одиннадцать-восемь-шестьдесят семь?

Мюнше автоматически кивнул.

– Остальные в наличии, включая троицу жмуриков из числа бежавших?

Мюнше кивнул снова.

– Так пошевелите мозгами, Мюнше! Когда это было ринулось за колючую проволоку, никто, в том числе и искомый чекист, даже в мыслях не держал, что сюда приедет Заукель с полномочиями из самого Берлина! Ни они, ни мы с вами. Если бы не приезд Заукеля, как бы мы расценили побег?

Мюнше молчал. И Ренике сам ответил на собственный вопрос:

– А мы бы сделали вывод: некто, оставшись в лагере, пытается нас убедить, что он сбежал. Так?

Мюнше кивнул в очередной раз.

– А зачем?

Унтерштурмфюрер обреченно уставился на гестаповца.

– Ну и болван же вы, Мюнше! Несколько минут назад, опять же вы самолично, докладывали: чекист никуда бежать не может! Гангрена, полное истощение! Стало быть... Ну?

– Он послал связного, – робко проговорил Мюнше, глядя на Ренике.

– Наконец-то, унтерштурмфюрер! – хлопнул по столу гестаповец. – Ушла информация! И очень важная!

Ренике подступил к Мюнше вплотную, словно хотел его проткнуть своим лисьим носом или укусить за щеку.

– Такая важная, Мюнше, что трое беглецов фактически ведут вашу погоню за собой, а четвертый – как раз с номером чекиста на спине! – устремляется совершенно в другую сторону. А чей, кстати, номерок на чекисте?

Мюнше протянул гестаповцу учетную карточку.

– Хм... Занятно... – Ренике задумчиво поглядел сквозь унтерштурмфюрера. – Послушайте, Мюнше, а ваши блок-капо... Они опознали мертвецов? Совпадают по номерам? Не получилось ли тройного или вообще бесконечного переодевания? Хотя... Это и ни к чему вовсе... – Ренике уже просто размышлял вслух, не обращая на Мюнше никакого внимания. – Какая нам разница, кто убежал, а кого загрызли собаки... Куда важнее, что унес с собой четвертый. Если, конечно, унес... И как унес. В голове или более осязаемо... А может, и не унес никто ничего...

Взгляд гестаповца вновь сфокусировался на унтерштурмфюрере.

– Мюнше, а доставленные в лагерь мертвецы... Вы тщательно обыскали тела?

– Так точно. Ничего, что могло бы...

– А если они что-нибудь спрятали или уничтожили, когда поняли, что от погони не уйдут? Хотя... В таком снегу... Да и смысл тогда? Тогда любая информация канула. Для врага тоже.

Ренике решительно зашагал по кабинету из угла в угол, стремительно разворачиваясь на каблучках.

– Неотработанных вариантов, получается, два. Либо информация продолжает двигаться в неизвестном для нас направлении вместе с ее носителем. Либо... Либо она сейчас лежит на носилках в административном бараке, мается от гангрены и голода. И не ведает, что ее окружили, как китайского императора, великая забота и огромное внимание. Имперская забота о полудохлом чекисте! М-да... Не завидую я господину полковнику... Если чекист отдаст

концы... Или от него ничего не добьется по дороге Заукель, или его берлинские хозяева... И вам я не завидую, Мюнше, если четвертый беглец не найдется. Впрочем, вам, любезный, я не завидую в любом случае. Побег состоялся. Факт, как говорится, налицо.

Снова затрещал телефон. Ренике как раз оказался рядом с аппаратом, жадно схватил трубку.

– Ренике! Это вы, Краус... Ну что там еще? Кто? – Гримаса недовольства еще больше исказила лицо шефа остбургского гестапо, потом перетекла в брезгливое выражение и тут же сменилась азартной лисьей мордочкой. – Так... Так... Где? – Ренике, натягивая телефонный провод, потянулся к висевшей на стене карте, отдернул закрывавшую ее шторку, зашарил свободной рукой по квадратам. – Так... Так... Что? Ни в коем случае! Только там! Краус! Головой отвечаете! Головой! Пошлите за мной в лагерь машину с охраной!.. Это долго! Из местной комендатуры! Быстрее, Краус! Шевелите задницей, черт вас подери!

Он швырнул трубку на аппарат и возбужденно принялся натягивать свой хрустящий антрацитовый плащ.

– Мышеловка захлопнулась, Мюнше! А может быть, наоборот, только готовится! Может, кусочек первоклассного шпига только-только надет на крючок в проволочном домике, а, Мюнше? Да, именно наоборот... наоборот... Унтерштурмфюрер! Срочно соедините меня с полковником Заукелем. Совершенно нет желания тащиться из штаба в административный барак.

Мюнше крутнул ручку аппарата внутренней связи. Соединившись, протянул трубку гауптштурмфюреру.

– Господин полковник? Ренике. Только что мне звонил мой заместитель, оберштурмфюрер Краус. По агентурной линии поступило сообщение о задержании четвертого из беглецов!.. Да, схвачен нашим агентом... Нет, Краус уже на месте. Полагаю немедленно туда выехать... Да, за мной придет машина с охраной... Думаю, мы еще встретимся в Остбурге до вашего вылета в Берлин... Безусловно, господин полковник... Проясню ситуацию максимально. А что ваш коллега из Москвы?.. Молчит... Досадно...

ГЛАВА 7. БАНГЕРСКИС

За мутным от грязи и копоти окном пульман-вагона медленно плыла опостылевшая даурская степь. Без конца и без края. Вечный степной ветер, пронизывающий в ноябре до костей даже сквозь добротную бекешу, – чего уж там самое дорогое шинельное сукно! – безжалостно гнул поредевший ковыль, чахлые топольки придорожной лесопосадки, свистел в невидимых вагонных щелях. Сдул и последние намеки на выпавший третьего дня снежок. Чертов край!

Командир 1-го Забайкальского корпуса генерал-майор Рудольф Карлович Бангерский угрюмо оглядывал проплывающие ковыльные дали, машинально помешивая остывший чай. Стакан мелко подрагивал в мельхиоровом подстаканнике, тонкий кружок лимона окончательно стал похож на разлохматившуюся в желтом кольце медузу.

Командир корпуса и за полтора с лишним десятка лет – перерывы конечно же были, – так и не привык к этой местной пародии на аглицкие чайные церемонии. Лорды-пэры и прочие холеры, прикарманив Индию, любят попить чаёк, подливая в него молочко или сливки. Но им далеко до местных, забайкальских аборигенов. Эти уж намешают, так намешают! И заварка – чуть ли не ложка в стакане стоит, да и сливок не пожалеют. Казачье местное, гураны даурские, недалеко ушедшие по обличью от бурят, обитающих в степи, и тунгусов, кормящихся с тайги, – все они, и первые, и последние, и вовсе по-дикарски с чаем обращаются – могут и бараньего жира в котел навалить, и соли бухнуть, и еще хрен знает чего! Тут у них, в каждом улусе, – свой рецепт. Всякие «купчики», «карымские» взвары-узвары... Хотя, кость им в горло и черта на задницу, иногда не так плохо бывает эта экзотика – насытит и взбодрит служивого, до последней жилочки отопреет настывшее на степном ветру тело. Но Рудольф Карлович, первый раз попробовав такой чай еще в Русско-японскую, так и не проникся оным «гурманством», чай вообще пил редко и исключительно с лимоном, сладкий, предпочитая кофе или компоты.

Уроженец чопорной Риги, сын небогатых родителей. Основным доходом семьи было жалованье отца, служившего по почтовому ведомству Российской империи. Ни аристократических корней, ни потомственного дворянства. Но очередной классный чин и награждение орденom за выслугу лет приподняли дорогого папашку до дворянского звания как нельзя кстати: для сына наступило время выбора жизненной стези. И Рудольфс выбрал карьеру военного. Юнкерское училище, пехотный полк – поначалу на военном поприще особо не заладилось, но, как говорится, кому война, а кому – мать родна.

Война и в самом деле грянула. В 1904 году двадцатилетний капитан-латыш оказался на Дальнем Востоке, познав все прелести окопной жизни и бездарной, до полнейшего международного позора, Русско-японской военной кампании. Подлейший ее апофеоз – мукденский разгром – встретил новоиспеченным штабным подполковником, что, наверное, и уберегло голову от японской «шимозы» в чистом поле. А в целом война с японцами лично для Рудольфа Карловича закончилась неплохо: благоприятным собеседованием при поступлении в Николаевскую академию Генерального штаба.

Высшее военное учебное заведение российской армии Рудольф Карлович окончил аккуратно в 1914 году. Но дальше тихих штабных кабинетов теперь его судьба не кидала, да и он не особенно рвался. Хватило Порт-Артура, Ляояна и Мукдена, как и широкого общения в военно-академической среде, а позднее и в штабной, чтобы в достаточной мере осознать: никчемный царь, никчемное его окружение, никчемная страна. Львовы и гучковы прошляпили Керенского, а тот – большевичков.

И снова завертелась кровавая мельница. Гражданская война куда страшнее самой ожесточенной схватки с иноземным противником. Тут – и брат на брата, и сын на отца. Ни патриотов, ни захватчиков. На красный террор – белым террором, на белый – красным. Одних

ставят к стенке за мозолистые ладони, других – за погоны. Одни мобилизуют и реквизируют во имя Мировой революции, другие – во имя Самодержавия, Родины, Веры...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.